

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

# Гимназисты



Семейная хроника

Николай Гарин-Михайловский  
**Гимназисты**

«Public Domain»

1895

## **Гарин-Михайловский Н. Г.**

Гимназисты / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain»,  
1895 — (Семейная хроника)

«Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры...»

# Содержание

I	5
II	8
III	21
IV	30
V	40
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Николай Гарин-Михайловский

## Гимназисты

### Из семейной хроники

#### I

### ОТЪЕЗД СТАРЫХ ДРУЗЕЙ В МОРСКОЙ КОРПУС

Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры.

Оживленнее других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками, белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, в ринсе-пез на широкой тесемке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо.

Семенов, с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть.

Это бессознательное выражение сказывалось во всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным.

Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражили его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя, по обыкновению, ногти, бросал направо и налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уж несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и наконец проговорил, обращаясь к нему:

– Если б и не знал я, что отец твой военный, то можно угадать это по твоей осанке.

Семенов удовлетворенно, но в то же время выжидательно оправился, и лицо его приняло еще более официальное и важное выражение.

– Полковник? – спросил Корнев.

Семенов кивнул головой.

– Я видел его... Денщиков бьет?

– Если виноват, спуску не даст.

– Вот этак, – сказал Корнев и, скорчив свирепую физиономию, идиотски скосив глаза, сунул кулаком в воздух.

Все рассмеялись.

– Ты, конечно, тоже будешь военный? – спросил Рыльский.

– Об этом еще рано теперь говорить, – ответил, еще более надувшись, Семенов.

– Дело тяткино, – рассмеялся Рыльский.

Семенов злобно покосился на него и сдержанно ответил:

– Что ж делать? настолько еще не развит, что признаю власть отца.

– Понятно, – с комичной серьезностью поддержал его Рыльский и опять рассмеялся.

– Насколько глуп, что в бога верю... Терпеть не могу поляков за их чванливое нахальство.

– Это к прежнему счету, – продолжал тем же тоном Рыльский, – немцев не терплю за их возмутительное высокомерие, французов – за их пустое легкомыслие...

– Собственно, это очень характерно, – вмешался Корнев, – ты, значит, все нации, кроме русской, не любишь?

– Вовсе нет.

– Ну, кого же ты любишь?

Семенов подумал.

– Испанцев, – ответил он.

– Ты видел хоть одного испанца? – спросил Корнев так, что все рассмеялись.

– Я и Америки не видел... По-твоему, значит, чего не видел, о том и говорить нельзя?

– Ну хорошо, за что ты, собственно, испанцев любишь?

– За бой быков, – заговорил Рыльский, – за учреждение ордена иезуитов...

– Иезуиты уж это ваше польское дело... По-моему, каждый поляк иезуит.

– По-моему? – вспыхнул Рыльский. – А по-моему, ты самодовольная свинья, которая вместо того, чтоб думать, гордишься тем, что думать не хочешь.

– А ты... – начал было Семенов, но в это время дверь отворилась, и в класс вошел инспектор.

Все встали и быстро оправались.

Бритое широкое лицо инспектора на этот раз не было таким деревянным, как обыкновенно. Даже и в голосе его, сухом и трескучем, теперь отдавались какие-то незнакомые, располагавшие к себе нотки. Да и дело, по которому пришел инспектор, выходило из ряда вон. В его руках был печатный лист с приглашением желающих поступить в морской корпус.

Сообщив условия поступления, инспектор ушел, а класс превратился в улей, набитый всполошившимися пчелами.

Все говорили, все волновались, всех охватило приятное чувство сознания, что они уж не дети и могут располагать собою, как хотят. Конечно, это был, в сущности, только обман чувств, – у каждого были родители, но об этом как-то не хотелось думать, особенно Карташеву, и он так же решительно, как и его друзья Касицкий и Данилов, заявил о своем твердом и непреклонном намерении тоже ехать в корпус.

Волнение улеглось, больше желающих не оказалось, и товарищи смотрели на нераздельную тройку, как на что-то уже отрезанное от них.

Одни относились к отъезжавшим с симпатией и даже с завистью, и это льстило тройке, другие, вроде Корнева, не сочувствовали.

Корнев, грызя свои ногти, заявил, что не находит в карьере моряка ничего привлекательного.

– Еще бы тебе находить в ней какую-нибудь прелесть, когда тебя и в лодке укачивает, – сказал пренебрежительно Касицкий.

Корнев покраснел и ответил:

– Я-то уж, конечно, какой моряк, но если б меня и не укачивало, я все-таки не избрал бы карьеры моряка.

– Почему?

– Потому что не вижу никакой разницы между любым армейским офицером и моряком: та же бессмысленная жизнь.

– Почему бессмысленная? – огрызнулся Семенов.

– Да потому, что все, в конце концов, сводится: на-а плечо! на краул!.. Да ей-богу! Ну что, собственно, какую цель вы преследуете? Ну, будете ездить на пароходе, будете лупить линьками матросов и в то же время любоваться морем. Трогательная идиллия, чушь с маслом, такая же бессмысленная жизнь, как жизнь любого юнкера.

Данилов схватился с Корневым.

Доводы Данилова сводились к прелестям морской жизни, прелестям борьбы с морем.

– Собственно, – возражал Корнев, – какой в этой прелести, в сущности, смысл: победа? – ну, победил сегодня с тем, что завтра оно уже побеждено? Нет, завтра опять побеждай, и после-завтра, и до тысячи раз. В конце концов вся жизнь сведется к счету рейсов – одним больше, одним меньше...

Доводы Корнева сильно охладили отношения учеников к собиравшейся к отъезду тройке.

Карташеву тоже как-то в ином освещении представился корпус.

Тем не менее друзья попрощались, выходя из гимназии, с твердым намерением ехать в корпус.

Карташев пришел домой и к концу обеда приступил к переговорам с матерью.

Мать со страхом прислушивалась к словам сына, но делала спокойное лицо и ласково смотрела, пока он, глотая красный сочный арбуз, рассказывал ей о вызове желающих поступить в корпус и о решении его, Данилова и Касицкого.

– Поезжай... – проговорила мать серьезным, грустным голосом, когда он кончил.

Она вздохнула.

– Я мечтала о другой карьере, думала, что мой сын принесет мне университетский диплом... Жаль, что не исполнила папиного желания, когда тебе было десять лет, и сразу не отдала в корпус.

– В корпус, чтобы выйти офицером, я сам бы не пошел. Моряк и сухопутный офицер – громадная разница.

– Нет, уж хоть не обманывай себя: никакой разницы нет.

Наступило молчание. Карташева невольно поразило сходство взглядов матери и Корнева. Насколько Корнев при этом возвысился в его глазах, настолько же себя он почувствовал как-то униженным перед Корневым.

– Делай как хочешь, – продолжала, помолчав, мать. – Я думала, что ты pomoжешь мне по хозяйству без папы. Делай как хочешь.

Аглаида Васильевна встала расстроенная и вышла из столовой.

Карташев не ожидал такого конца.

– По-моему, Тёма, это глупость, – сказала его рассудительная сестра Зина. – У мамы здоровье слабое, ты, старший в доме, бросишь семью, уедешь в корпус... а кто ж здесь будет ходить в наемный двор, как мы останемся без мужчины?

– Я что ж, по-твоему, так и буду всю жизнь около вас торчать? – спросил с досадой Карташев.

– Да мне-то ты ни капельки не нужен, – поезжай хоть сейчас и куда тебе угодно.

И Зина ушла.

Карташев чувствовал себя окончательно сбитым с позиции: морской корпус, еще так недавно казавшийся делом решенным, отодвинулся куда-то далеко-далеко.

Наташа, вторая сестра, с любовью и грустью смотрела на брата.

– Ты когда, Тёма, поедешь? – спросила она, стараясь скрыть волновавшие ее чувства под маской простого любопытства.

Тёма заглянул в глаза сестры.

– Никуда я не поеду, – ответил он, вздохнув, и, встав, направился в кабинет.

Там он шагнул в сознании принесенной им жертвы. Может быть, для жертвы его вид был слишком спокоен, но тем не менее это не мешало ему считать себя жертвой, и ему казалось, что он сразу точно вырос на несколько лет. Он лег на диван, заложил за голову руки и задумался о том, что жизнь не такая простая и легкая вещь, какой она кажется по наружному виду.

Так и уснул он, думая все о том же.

## II НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Касицкий уехали, и Карташев расстался с друзьями, с которыми три года прожил душа в душу.

Новое время, новые птицы, – новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные и запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташевым, Корневым и другими.

Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Касицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю.

Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташев не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство, и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот, он от Корнева получал очень неприятный отпор.

В своей компании с Даниловым и Касицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый.

Когда друзья уехали, Карташев на первых порах по отношению к Корневу старался удержаться на этой позиции. Иногда в споре, чувствуя, что почва уходит из-под ног, Карташев говорил:

– Послушай, Корнев, ты добрый, в сущности, малый, но эта твоя бабья черта...

– Я очень тебе благодарен за снисхождение, – сухо перебивал его Корнев, – но оставь его для тех, кто в нем нуждается.

Тогда Карташев, уязвленный саркастическим тоном Корнева, распался и начинал ругаться. Но и это плохо помогало и удовлетворения Карташеву не приносило. И не только не приносило, но мучило и искало выхода. Выходило как-то так, что все, что ни скажет он, все не то, всегда Корнев ловко, искусно сейчас же собьет его с позиции.

Карташев начал впадать даже в уныние: «Что ж, я глуп, значит? Глупее его?» – думал он, и его гордость не мирилась с таким выводом.

Они спорили решительно обо всем. Началось с религии. Сперва Карташев был горячим защитником ее, но постепенно он стал делать уступки.

– Не понимаю, – говорил раз Корнев, грызя свои ногти. – Или ты признаешь, или не признаешь: середины нет. Говори прямо, верующий ты?

– В известном смысле да, – ответил уклончиво Карташев.

– Что это за ответ? Верующий, значит... С этого бы и начал. А в таком случае о чем тогда с тобой разговаривать?!

– Ты перевернешь всякое мое слово и воображаешь, что это очень остроумно.

– А это не умно и не остроумно, – вставил саркастически Рыльский.

Рыльский держал себя как-то пренебрежительно по отношению к Карташеву, как, впрочем, и к громадному большинству класса.

Вставка Рыльского так взбесила Карташева, что он покраснел как рак и выругался:

– Болван!

Рыльский поднял высоко брови и спокойно, насмешливо сказал:

– Вот теперь окончательно убедил: молодец!

Карташев открыл было рот, но вдруг, круто обернувшись, пошел и сел на свое место.

– Что, кончил уже? – окликнул его тем же тоном Рыльский.

– С такой свиньей, как ты, говорить не стоит, – ответил Карташев.

– Ну, конечно...

– Постой... – перебил Рыльского Корнев и, обращаясь к Карташеву, проговорил: – Ну, хорошо: ты говоришь, что я перевираю твои слова, так сделай милость, объясни, как же понимать тебя.

– Я не могу спорить, когда один перевирает, а другой горохового шута из себя корчит.

Рыльский открыл было рот для ответа.

– Молчи... – потребовал Корнев.

Рыльский замолчал и только рассмеялся.

– Ну, вот он молчит. Я тоже вовсе не желаю заниматься перевираанием твоих слов: ты сказал, что ты верующий в известном смысле. Я понял это так, что ты все-таки верующий. Выходит, я переврал: так объясни.

Если бы в классе были только Корнев и Рыльский, Карташев, вероятно, так и отказался бы от дальнейшего диспута, но тут было много других, и все ждали с интересом, что скажет теперь Карташев. В числе этих других многие любили Карташева, верили в его способность отбиться от Корнева, и Карташев скрепя сердце начал:

– Я признаю религию как вещь... как вещь, которая связывает меня с моим детством, как вещь, которая дорога моим родным...

Рыльский, повернувшись было вполборота, когда Карташев начал говорить, весело покосился на Корнева, отвернулся спиной к Карташеву, махнул рукой и уткнулся в книгу.

– Значит, ты сознательно обманываешь себя и родных? Выходит, что тебя связывает с ними ложь. Такая связь не стоит того, чтобы за нее держаться.

– А тебе разве не доставляет удовольствия на пасху не спать ночь?

– Никакого...

– Врет, – заметил Семенов, упрямо наклоняя голову.

– Да, наконец, это уже другая почва... удовольствие... И в снежки играть удовольствие, да не пойдешь же!

– А отчего мне не идти, если мне этого хочется?

– Ну, иди, – ответил Корнев. – Снег скоро выпадет. Вон товарищи уже ждут.

Корнев показал в окно на толпу уличных ребятишек.

Карташев тоже посмотрел и рассмеялся.

– Рылю, – сказал добродушно Корнев.

Впрочем, таким мирным образом споры редко кончались.

– Ты ему напрасно спускаешь, – брюзжал Семенов Карташеву, когда они по окончании уроков шли домой.

– Я вовсе не спускаю.

– Ну-у, спускаешь... В прошлом году, помнишь, как оттрепал его, а теперь уж сам говоришь: «В известном смысле...»

– Послушай, нельзя же действительно со всем соглашаться...

Карташев рассеянно скользнул взглядом по проходившей даме, по прилавку, заваленному грушами, персиками, виноградом, молодыми орехами в зеленой скорлупе, втянул в себя аромат этих плодов и договорил:

– Я верю... но не могу же я, например, представить себе небо иначе, как оно есть, то есть не простым воздухом.

И Семенов и Карташев, как бы для большей наглядности, подняли глаза в прозрачную синеву осеннего неба. С неба их взгляд упал на залитую солнцем улицу, скользнул туда, где

ярко синело бесконечное море, теперь прохладное, спокойное, уснувшее в своем неподвижном величии.

Друзья остановились на перекрестке, откуда Карташеву надо было сворачивать домой.

– Я провожу тебя, – предложил Карташев.

И приятели отправились дальше. Они шли, и то сходились так, что плечи их касались друг друга, то расходились, рассеянно, мимоходом глаза на выставленные в окна магазинов вещи.

– Конечно, есть в природе, – продолжал Карташев, – что-то непонятное, недоступное нашему уму... Я был бы слишком глуп, если бы не признавал того, что признавали люди, может быть, в тысячу раз умнее какого-нибудь Корнева или Рыльского.

– Терпеть не могу этого Рыльского, – перебил Семенов, упрямо наклонив голову.

– И моя душа к нему не лежит, – согласился Карташев. – У Корнева есть все-таки...

– Да я тебе скажу, что Корнев просто под влиянием Рыльского.

– Ты думаешь?

– Уверен... Просто сам разобраться не может, а Рыльского боится: все, что тот ему наговорит, то и повторяет.

– Нет, положим, Корнев и сам по себе не глупый малый.

Семенов сжал как-то губы и произнес сухо:

– По-моему, просто фразер.

– Да фразеры-то они оба.

– Ты посмотри, они обо всем берутся рассуждать. Ну что ж, в самом деле можем мы действительно обо всем иметь правильное понятие?.. Что, в сущности, их рассуждение? Мальчишество.

– Конечно, мальчишество.

– И я тебе скажу, опасное мальчишество, которое может привести ни больше ни меньше как к исключению... Это ведь все не ихнее... из книжек разных... Рыльский из воды сухим выйдет, а Корнев, как дурак, попадет. Вот отчего я и не могу считать Корнева умным человеком... Самое лучшее – подальше от них, – закончил Семенов.

Он оправился, как-то особенно выставил грудь, надулся и раскланялся с проезжавшим на извозчике военным.

– Плац-адъютант, – объяснил он Карташеву.

И оба оглянулись и смотрели, как ехал на извозчике плац-адъютант в полной форме, с наброшенным поверх мундира форменным пальто.

– Глупая у них форма, – сказал Семенов, – так, что-то среднее, – не то кавалерия, не то пехота: не разберешь.

Друзья прошли еще одну улицу.

– Ну, мне уж пора, – остановился Карташев.

– Еще через мост.

И они пошли через мост.

– Я бы тебя проводил, – сказал Семенов, смотря на часы, – да опоздаю к обеду... Отец насчет этого формалист... Да и действительно... ну, прощай.

Друзья попрощались у последнего поворота, откуда виднелся желтый с мезонином дом-особняк, где жила семья Семенова. Семенов и направился к нему спешной деловой походкой, а Карташев лениво побрел назад, шурясь от солнца и представляя себе, как Семенов торопливо взбежит по узкой лестнице в мезонин, положит там ранец, умоется, расчешет перед зеркалом волосы, а денщик почистит его щеткой. Затем он быстро спустится вниз; пройдет большой пустой зал и войдет в столовую, где уже собралось все семейство и глава его, худой, с суровым лицом полковник, в расстегнутом кителе, в синих штанах, молча шагает своими сухими ногами

по комнате. Семенов подойдет, с выправкой шаркнет ножкой, наклонится и поцелует жилистую руку отца, произнося безличным тоном:

– Здравствуйте, папаша.

Затем подойдет к худой, с некоторой претензией одетой даме, небрежно подхватит ее руку, поднесет к губам, покровительственно нагнется, поцелует ее в губы, заглянет в ее добрые усталые глаза и скажет:

– Здравствуй, мамаша, как себя чувствуешь?

На младших братьев, Борю и Петю, Семенов вскользь только взглянет и пойдет к своему месту, потому что отец, посмотрев на часы, уже берется за свой стул.

За обедом всегда кто-нибудь из полковых, разговор по чину, а после обеда обязательная часовая пыльная на скрипке. Семенов сам уже знает, торопливо благодарит и спешит наверх. Оттопырив губы, он аккуратно вынимает из ящика скрипку, достает смычок, долго настраивает, прислушиваясь, весь сосредоточенный, с поднятыми бровями, и, кончив скучную, но приятную по своим результатам работу, становится в позицию, вытягивает руку со смычком, прицеливается глазами в ноты, склоняет голову, и по дому несется твердый однообразный звук низких и высоких нот громкой скрипки. А там, в кабинете, сидит сухой полковник, курит, смотрит в окно, одним ухом слушает полкового, а другим – твердые отчетливые звуки нравящегося ему своей определенностью инструмента.

Эта хорошо знакомая Карташеву картина ярко рисуется ему, пока он в блеске веселого, безоблачного дня идет домой, и ему завидной делается эта налаженная, систематическая жизнь... Жизнь его родных и он сам представляется ему чем-то разбросавшимся, несобранным. Книжки его, почти не связанные, то и дело скользят в руках, в голове бродит мысль и перескакивает от Семенова к Беренде, тоже скрипачу, игравшему, в контраст с Семеновым, так мягко и мелодично. Он вспоминает Корнева, Рьльского, вспоминает опасения Семенова, его охватывает какой-то страх за их судьбу, но последний совет Семенова «подальше от них» производит на него как раз обратное действие, и его тянет к ним, и он даже как-то мирится с неприятною внешностью Корнева и Рьльского; мирит его главным образом то, что это они говорят не свое, что не пред ними, Корневым и Рьльским, приходится преклоняться, а пред тем, чему и они поклоняются сами. А пред тем, чему даже Корнев и Рьльский поклоняются, пред тем и никому не обидно... «Все-таки они умные и умнее Семенова», – закончил Карташев свои размышления.

И даже нетерпимая внешность их, резкие выходки и те осветились иначе: «Просто мальчишки, – узнали, да и не говорят откуда, а вот если б я первый узнал, они бы не знали, что говорить. Все-таки я умный: они по книжкам, а я без книжек, и то совсем почти им не поддаюсь».

Весь класс разбился на две неравные партии: Корнева, немногочисленную, и – партию Карташева.

Группа Корнева сблизилась между собой и вне гимназии, – ходили друг к другу в гости, но так, впрочем, что с семьями не имели никакого соприкосновения. Обыкновенно компания собиралась в комнате товарища, – там курили, читали, туда приносили им чай. Если собрание было более обыкновенного, им уступались иногда и парадные комнаты, показывались на мгновение родные и уходили, сопровождаемые благодарственными взглядами молодежи. Что могло быть приятнее, как чувствовать себя совершенно свободными от необходимости чинно сидеть, чинно говорить. Какое удовольствие испытывала компания, когда дверь затворилась за непрошеным взрослым членом семьи! Корнев даст сейчас, бывало, козла. Рьльский поправит свой шнурок от *ripse-nez* и снисходительно пустит: «Ха-ха!» Дарсье, потомок изящных французов, оглянется с комичной миной, подберет фалды и бултыхнется на диван.

– Послушай, француз, – скажет Корнев, – сегодня тебе спать не дадут.

– Откуда ты взял, что я буду спать? – фыркнул Дарсье, поплотнее уминаясь.

Корнев некоторое время добродушно рассматривал Дарсье и произносил с каким-то пренебрежительным снисхождением:

– Рылю.

– Сам ты... – так же добродушно огрызнулся француз.

– Что с ним церемониться? – говорил Рыльский, обращаясь к Дарсье. – Вот тебе постановление коммуны: если ты не повторишь последней фразы, когда останутся, то каждый раз с тебя том Писарева.

– Ну... – размахивая руками, подскакивал До лба, – давай, брат, деньги, по крайней мере, без всякой помехи спать будешь.

– Дурачье, – смеялся вместе со всеми Дарсье, – не дам.

– Тем хуже для тебя...

– Хорошо, хорошо... – кивал головой Дарсье, – посмотрим еще.

Начиналось чтение: и в то время как все слушали с напряженным вниманием, Дарсье напрасно изнемогал в непосильной борьбе: что-то лезло на глаза, закрывало их, и Дарсье кончал тем, что сладко засыпал коротким чутким сном. Очень чутким. Чуть останутся, уж Дарсье знал, в чем дело, и, еще не проснувшись, лениво повторял последнюю фразу.

А Рыльский делал жест и продолжал читать.

– А кто слишком склонен к Яни, того больно бьют по пяткам... Дарсье, повтори.

Дарсье вскакивал и быстро повторял, и от сумасшедшего хохота дрожали стекла, потому что Яни – и бог земли, и в то же время фамилия красавицы гимназистки, к которой неравнодушно французское сердце Дарсье: вся фраза выдумана Рыльским без всякой связи с предыдущим и последующим чтением, специально для Дарсье.

– Ну, так хоть это запомни хорошенько... – наставительно говорил Рыльский.

И снова шло чтение, а затем споры, рассуждения. Подымались разные вопросы, решались. Это решающее значение обыкновенно принадлежало Корневу и Рыльскому. Иногда выдвигался Долба – здоровенный ученик из крестьян, в прыщах, с красным лицом, с прямыми черными волосами и широким большим лбом.

– Лбина-то у тебя здоровенная... – говорил Корнев, внимательно всматриваясь в Долбу.

– Бык, – отвечал Долба и, расставя ноги, смеялся мелким деланным смехом.

Только глазам было не до смеха, и они внимательно, пытливо всматривались в собеседника.

Корнев грызет, бывало, ноготь, подумает и проговорит:

– На Бокля похож.

Долба вспыхнет, смеряет четвертью свой лоб, скажет «ну» и опять рассмеется.

– Способная бестия... – заметит опять Корнев не то раздумчиво, не то с какой-то завистью.

– Дурак я, – ответит Долба, потом заглянет в глаза Корневу и, пригнувшись, рассмеется своим мелким смехом.

– Да что ты все смеешься?

– Дурак, – ответит уклончиво Долба.

– Глаза хитрые...

– Мужичьи глаза.

– Положительно загадочная натура, – высказывал свое мнение Корнев в отсутствие Долбы и задумывался.

– Рисуетя немного... но талантливый, подлец, – соглашался Рыльский.

Многочисленная партия Карташева была полной противоположностью партии Корнева. Все это были люди, которые ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий время скучали и томились.

Корнев с компанией язвили их, вышучивали, донимали и осмеивали все то, что в их глазах казалось неприкосновенным.

Карташев был представителем своей партии. Случилось это как-то само собой: Карташев усердно отстаивал тех, кто попадал на острые зубы противной партии; он обладал даром слова, находчивостью в спорах; он, наконец, был добр и не мог выносить бессердечия партии Корнева ко всем тем, кто или стоял ниже их в умственном отношении, или не разделял их взглядов.

Начнет, бывало, Корнев без церемонии ругать кого-нибудь, а Карташев чувствует такое унижение, как будто его самого ругают. Выругается Корнев и примется за чтение.

– Я не понимаю этого удовольствия, – заговорит Карташев скрепя сердце, – говорить человеку в глаза «идиот».

– А я не понимаю удовольствия с идиотами компанию водить, – ответит небрежно Корнев и примется за свои ногти, продолжая читать.

– Если б даже и идиот он был, что ж, он поумнеет оттого, что его назовут идиотом?

Корнев молчит, погружившись в чтение.

– Если не поумнеет, то отстанет, – бросит за него Рыльский.

– Или в морду даст? – пустит со своего места Семенов.

– Испугал!

– А вот назови меня...

Рыльский весело смеялся.

– Ну, а если два человека назовут тебя идиотом. Тоже в морду дашь?

– Дам, конечно.

– Ну, а три?..

– Хоть десять.

Корнев отрывается от чтения и говорит мягким, ласковым голосом:

– Если бы ты встретил неприятеля, мой друг, ты что бы сделал? – Он делает свирепое лицо. – Приколол бы, ваше превосходительство. – А если ты десять неприятелей встретил? – Приколол бы! – Мой друг, разве ты можешь десять человек приколоть? Подумай хорошенько. – Так точно, не могу.

Корнев меняет тон и говорит наставительно:

– Солдат, и тот понял.

– Так ведь то солдат, – поясняет Рыльский, – а он сын полковника... Вот, погоди, подрастет он, один всю Европу приколлет.

– Ах, как остроумно! – говорит Семенов.

В числе карташевской партии, между прочим, были Вервицкий и Берендя. Они сидели на одной скамейке и дружили, хотя по виду дружба их была очень оригинальна: друзья постоянно ссорились.

Вервицкий был широкоплечий блондин, с голубыми глазами, с круглым лицом, с грубым, сирым голосом, сутуловатый, с широкими плечами.

Берендя, или Диоген, как называл его язвительно Вервицкий, худой, высокий, ходил, подгибая колени, имел длинную, всегда вперед вытянутую шею, какое-то не то удивленное, не то довольное лицо, носил длинные волосы, которые то и дело оправлял рукой, имел желто-карие лучистые глаза и говорил так, что трудно было что-нибудь разобрать.

Главным недостатком Беренди Вервицкий считал его глупость. Он этим и донимал своего друга.

Надо отдать справедливость, Вервицкий умел подчеркнуть глупость друга. Когда он, бывало, вытянув шею, подгибая колени, шел, стараясь изобразить Берендю, класс умирал от смеха. В мастерской передаче Вервицкого так ясно было, что Берендя действительно глуп. А еще яснее это было, когда Берендя вступал в спор.

Рот только откроет Берендя, а уж Вервицкий упрется на локоть, уставится в друга и с наслаждением слушает. Берендя с какой-то особой манерой откинется, вытянет длинные ноги и, устремив в пространство свои лучистые глаза, начнет, поматывая головой, длинную речь. Слушает Вервицкий, слушает и начнет сам поматывать головой, потом скосит немного глаза, на манер Беренди, что-то зашепчет себе под нос и кончит тем, что и сам расхохочется, и в публике вызовет смех.

Сбитый с позиции, Берендя обрывался и бормотал:

– Мне кажется странно, право, такое отношение...

Остальное исчезало в какой-то совершенно непонятной воркотне и в поматывании головой.

– Дурак ты, дурак, – говорил в ответ Вервицкий, с искренним сокрушением качая головой. – И всегда будешь дурак, хоть сто лет живи... Вот так и будешь все мотать головой, на кладбище повезут, и то мотать будешь, а о чем – так и не разберет никто.

– Ну, что ж, это очень грустно, – говорил Берендя.

– А ты думаешь, весело? – перебивал своим сиплым голосом Вервицкий.

– Очень грустно... очень грустно... – твердил Берендя.

– Тьфу! Противно слушать... не только слушать, смотреть.

– Очень грустно... очень грустно...

– И думает, что очень умную вещь говорит.

Такие стычки не мешали, однако, друзьям вместе готовить трудные уроки, ходить друг к другу в гости, поверять свои тайны и понимать друг в друге то сокровенное, что ускользало от наблюдения толпы, но что было в них и искало сочувствия.

Бывало, излившись друг перед другом, друзья ложились вместе на одну кровать, в загородной квартире Беренди, в доме мещанки, у которой Берендя снимал квартиру со столом и самоваром за двенадцать рублей в месяц. Берендя то начинал острить на свой счет, и тогда друзья хохотали до слез. А то вставал, вынимал скрипку и, смотря своими лучистыми глазами в зеленые обои своей комнаты, начинал играть. Чувствительный Вервицкий присаживался к окну, подпирал подбородок рукой и задумчиво смотрел в окно.

Время летело, скучный урок лежал нетронутым, наступали сумерки, темная ночь охватывала небо и землю, охватывала душу сладкой истомой, и было так хорошо, так сладко и так жаль чего-то.

А на другой день рассердится, бывало, Вервицкий и бесцеремонно начнет перед всем классом черпать доводы о глупости Беренди из тех же сокровенных сообщений, которые делал ему приятель накануне. Вспыхнет, бывало, покраснеет Берендя и забормочет, заикаясь, что-то себе под нос.

А Вервицкого еще больше подмывает:

– Ба-ба-ба! Ба-ба-ба! Пошел пилить! Ты говори прямо: я наврал? ты не говорил?

И как ни отделялся Берендя, а в конце концов, поматывая головой и пощипывая свою пробивающуюся бородку, едва внятно лепетал:

– Ну, говорил...

– А зачем же ты сразу забормочал так, как будто я сам все выдумал? Вот это и подлость у тебя, что ты все: туда-сюда... туда-сюда... как змея головой, когда уж ей некуда деваться...

И Вервицкий впивался в друга, а друг, под неотразимыми доводами, только молчал, продолжая поматывать головой.

– Что?! Замолчал!!

Кличку Диогена Берендя получил при следующих обстоятельствах.

– Мы изучаем Диогена, – однажды философствовал он, – и говорим, что он мудрец. Но если я полезу в бочку, буду со свечой искать человека... меня, по крайней мере, посадят в сумасшедший дом.

– И посадят когда-нибудь, – уверенно ответил Вервицкий. – Ты, знаешь, напоминаешь мне метафизика из басни. Ты хочешь непременно своим умом до всего дойти, а ума-то и не хватает: и выходит – веревка вервие простое...

– По-позволь...

– Не позволю: надоел и убирайся к черту.

– Как угодно... я только хотел сказать, что ту-ту-тут неладно... кто-нибудь из нас дурак – или Диоген, или мы...

– Ты дурак.

– Я утешаю себя, что, явись вот перед тобой сейчас Диоген, – тебе ничего не осталось бы, как и его назвать дураком.

– Ну, хорошо. Теперь, когда я захочу тебя выругать дураком, я буду тебе говорить: «Диоген». Хорошо?

– Мне очень приятно будет...

– Ну, и мне приятно будет.

Так и осталась за Берендей кличка Диоген.

Выдавались иногда дни, когда между партиями Корнева и Карташева водворялся род перемирия. Тогда Корнев и Карташев точно сбрасывали свои боевые доспехи и чувствовали какое-то особенное влечение друг к другу.

Один из таких дней подходил к концу. Последний урок был математика. Оставалось четверть часа до звонка. Учитель математики, маленький, с белым лицом и движениями, напоминавшими заведенную куклу, кончил объяснение и сел за стол. Он наклонил голову к журналу, понюхал фамилии всех учеников и произнес голосом, от которого заранее становилось страшно:

– Корнев.

Корнев побледнел и, перекосив, по обыкновению, лицо, пошел к доске.

Математика не давалась ему. В этом отношении перевес был на стороне Карташева, который хотя и не делал ничего, но все-таки держался на спасительной тройке. Корнев пытался доказывать теорему голосом человека, который твердо убежден, что он ничего не докажет, да и не дадут ему доказать.

– Возьмем треугольник ABC и наложим на треугольник DEF так, чтобы точка A упала в точку D.

Учитель слушал и в то же время внимательно, с любопытством бегал глазами по лицам учеников.

Яковлев, первый ученик, молча поднял брови. Рыльский досадливо опустил глаза. Долба с сожалением смотрел в сторону, а один ученик, Славский, не утерпел и даже искренне чмокнул губами.

– Как же вы это сделаете, чтоб точка A попала в точку D? – спросил учитель, смотря в то же время в лица учеников.

– Наложу так...

Наступила пауза. Учитель вытянул шею и внушительно сухо сказал:

– У вас, Корнев, выражения совершенно не математические.

– Я не способен к математике, – ответил Корнев, и раздраженное огорчение зазвучало в его голосе.

Учитель не ожидал такого ответа и, недоумевая, обратился к нему:

– Ну, так оставьте гимназию...

– Я себе избрал специальность, в которой математика ни при чем...

– Меня ни капли не интересует, какую вы специальность себе избрали, но вас должно интересовать, я думаю, то, что я вам скажу: если вы не будете знать математики, то вам придется отказаться от всякой специальности.

– А если я не способен?..

– Нечего и лезть...

По коридору уже несся звонок.

Учитель собрал тетради, пытливым взглядом заглянул в глаза Корневу и, сухо поклонившись классу, вышел своей походкой заведенной куклы.

– Охота тебе с ним вступать в пререкания? – обратился к нему с упреком Рыльский.

– Да ведь пристаёт...

– Ну и черт с ним. Человек мстительный, требовательный, только создашь такие отношения...

– Черт его знает, обидно стало: я, главное, знаю, чего ему хочется. Чтоб я сказал, что вот будем вращать до тех пор, пока вершина А совпадет с вершиной D...

Рыльский, Долба и Дарсье удивленно смотрели на Корнева.

– Если знал, зачем же ты не сказал?

– Да когда же я в этом смысла не вижу.

– Ну, уж это... – махнул рукой Рыльский и засмеялся.

Рассмеялся и Долба.

– Нет, ты уж того...

– Ну, какой смысл, объясни?! – вспыхнул Корнев.

– Да никакого, – сухо смерил его глазами Рыльский, – а экзамена не выдержишь...

– Ну и черт с ним...

– Разве, – проговорил пренебрежительно Рыльский.

– Я, собственно, совершенно согласен с Корневым, – вмешался Карташев, – не все ли равно сказать: будем вращать или наложим.

– Ну, и говорите на здоровье. Станьте вот перед этой стенкой и пробивайте ее головой.

– Эка мудрец какой, подумаешь, – возразил Корнев, раздумчиво грызя ногти.

– Вот тебе и мудрец... Вечером у тебя?

– Приходите...

Дальше всех по одной и той же дороге было Семенову, Карташеву и Корневу.

Когда они дошли до перекрестка, с которого расходились дороги, Корнев обратился к Карташеву:

– Тебе ведь все равно: пойдём со мной.

Карташев обыкновенно ходил с Семеновым, но сегодня его тянуло к Корневу, и он, не смотря на Семенова, сказал:

– Хорошо.

– Идешь? – спросил отрывисто Семенов, протягивая руку, и сухо добавил: – Ну, прощай.

Карташев постарался сжать ему как можно сильнее руку, но Семенов, не взглянув на него, попрощался с Корневым и быстро пошел по улице, маршируя в своем долгополом пальто, выпячивая грудь и выпрямляясь, точно проглотил аршин.

– Вылитый отец, – заметил Корнев, наблюдая его вслед. – Даже приседает так, хотя воображает, вероятно, что марширует на славу.

Карташев ничего не ответил, и оба шли молча.

– Послушай, – начал Корнев, – я тебя, откровенно сказать, не понимаю. Ведь не можешь же ты не понимать, что вся та компания, которой ты окружил себя, ниже тебя? Я не понимаю, какое удовольствие можно находить в общении с людьми, ниже тебя стоящими? Ведь от такого общества поглупеть только можно... Ведь не можешь же ты не понимать, что они глупее тебя?

Корнев остановился и ждал ответа. Карташев молчал.

– Я положительно не могу понять этого, – повторил Корнев.

Карташев сам не знал, что ответить Корневу. Согласиться, что его друзья глупее его, ему не позволяла совесть, а вместе с тем слова Корнева приятно льстили его самолюбию.

– А я тебя не понимаю, – мягко заговорил Карташев, – твоей, да и всех вас резкости со всеми теми, кого вы считаете ниже себя...

– Например?

– Да вот хотя с Вервицким, Берендей, Мурским...

– Послушай, да ведь это же окончательные дураки.

– Но чем же они виноваты? А между тем они так же страдают, как и другие. Ты бросишь ему дурака и думать забыл, а он мучится.

– Ну, уж и мучится.

– И как еще!.. Да я тебе откровенно скажу про себя: другой раз вы мне наговорите такого, что положительно в тупик станешь: может, действительно дурак... Тоска такая нападет, что, кажется, лег бы и умер.

– Да и никогда тебя дураком и не называл никто; говорили, что ты... ну, не читаешь ничего... Ведь это ж верно?

– Собственно, видишь ли, я читаю и много читал, но только все это как-то несистематично.

Корнев усиленно грыз ногти.

– Писарева читал? – спросил он тихо, точно нехотя.

– И Писемского читал.

– Не Писемского, а Писарева. Писемский беллетрист, а Писарев критик и публицист.

«Беллетрист», «публицист» – всё слова, в первый раз касавшиеся уха Карташева. Его бросило в жар, ему сделалось стыдно, и уж он открыл было рот, чтобы сказать, что и Писарева читал, как вдруг передумал и грустно признался:

– Нет, не читал.

Искренний тон Карташева тронул Корнева.

– Если хочешь, зайдем – я дам тебе.

– С удовольствием, – согласился Карташев, догадываясь, что Писарев и был тот источник, который вдохновлял Корнева и его друзей.

– Странная вещь, – говорил между тем Корнев. – Говорят, твоя мать такая умная и развитая женщина – и не познакомила тебя с писателями, без знания которых труднее обойтись образованному человеку, чем без классического сухаря...

– Моя мать тоже против классического образования. Я теперь вспоминаю, она мне Писарева даже предлагала, но я сам, откровенно говоря, все как-то откладывал.

– Не могла ж она не читать... Вы какие журналы получаете?

– Мы, собственно, никаких не получаем.

– Вы ведь богатые люди?

Карташев решительно не знал, богатая женщина его мать или нет, и скорее даже был склонен думать, что никакого богатства у них нет, потому что и дом и именьё были заложены, но ответил:

– Кажется, у матери есть средства.

– У нас ничего нет. Только вот что батька зарабатывает. Мой отец в таможне. Но хотя там *можно*, он ничего не берет, – это я знаю, потому что у нас, кроме двух выигрышных билетов, ничего нет. Родитель молчит, но мать у меня из мещанок, жалуется и не раз показывала.

Голос Корнева звучал какой-то иронией, и Карташеву неприятно было, что он так отзывается о своей матери.

Они подошли к высокому белому дому, в котором помещалась женская гимназия, как раз в то время, когда оттуда выходили гимназистки.

В самой густой толпе учениц, куда, как-то ничего не замечая, затесались Карташев и Корнев, Корнева окрикнула стройная гимназистка лет пятнадцати.

– Вася! – проговорила она, сверкнула своими небольшими острыми глазками и весело рассмеялась.

– А-а! – ответил небрежно Корнев. – Наше вам.

– Ну, довольно, довольно...

– Сестрица, – отрекомендовал пренебрежительно Корнев, обращаясь к Карташеву.

– Вот я маме скажу, какой ты невежа, – ответила гимназистка, вспыхнув и покраснев до волос. – Разве так знакомят?

Карташев залюбовался румянцем девушки и, встретившись с ней глазами, сконфуженно снял шапку.

– Ах, скажите пожалуйста! – прежним тоном сказал Корнев. – Ну познакомьтесь... Сестра... Карташев...

– У вас есть сестра?

И едва Карташев успел ответить, она засыпала его вопросами: так же ли он груб с своими сестрами? так же ли от него мало толку? так же ли он никуда с ними ходить не хочет и такие же ли у него друзья, которые всё читают какие-то дурацкие книжки и никого знать не хотят?

– Поехали, – сказал Корнев и стал грызть ногти.

Карташев, идя с сестрой Корнева, сделал новое открытие, а именно, что он образцовый брат, хотя Зина и не скупилась ему на упреки. Приняв это к сведению, он стал выгораживать, как мог, своего товарища и уверять, что все это ей только кажется.

– Пожалуйста, не трудись, – перебил его Корнев. – Все, что она говорит, одна чистая правда, но дело в том, что я не желаю быть другим...

– Видите, какой он...

И, посмотрев на брата, топнув ногой, прибавила:

– У-у, противный!

Она отвернулась. Карташев смотрел на ее каштановые, небрежной волной выбившиеся волосы, так мягко оттенявшие нежную кожу ее белой шеи. Огонь пробежал по нем, и он страстно думал, что, если б у него была такая сестра, он молился бы на нее богу.

Она встретила его взгляд, и он испугался, как бы она не прочла его мыслей. Но она не только не прочла, но смотрела на него ласково и шла совсем близко около него. От мысли ли, что она ничего не заметила, от чего ли другого, но Карташев чувствовал себя как-то особенно хорошо и легко. Маня, еще три года назад овладевшая его фантазией, сразу стушеввалась перед этой ослепительной, мягкой, женственной девушкой.

Что Маня? Что он, собственно, любил в ней? – думал он и радовался, что Маня тает там где-то, в его сердце, и уступает свое место чему-то более жгучему и определенному, чем какая-то заоблачная идиллия. Маня, которую он, вероятно, и не увидит больше, а эта шла рядом с ним, и он чувствовал ее так, словно ступала она не по мостовой, а прямо по его сердцу.

Они вошли в калитку небольшого чистого, обсаженного акациями двора, прошли двор и в углу его между скамьями пробрались к подъезду.

Из маленькой передней виднелась гостиная, большая, но невысокая комната, вправо из передней дверь вела в комнату Корнева, а влево была дверь в домашние комнаты. Корнев, раздевшись, указывая рукой, проговорил:

– Милости просим...

Карташев, неловко оправлявший свой испачканный мундир и растрепанные волосы, только что было собирался шагнуть в комнату Корнева, как из левой двери вышла маленькая сморщенная женщина, в которой Карташев сейчас же узнал мать Корнева.

– А-а, – произнес Корнев, – ну вот... маменька, еще мой товарищ, Карташев.

– Очень приятно, очень приятно... Я вашего батюшку видала, бывало, в соборе в царские дни... в орденах... Ваш-то батюшка меня-то уж, конечно, может, и не видел... Куда уж нам! мы люди маленькие...

– Ах, маменька, уж вы начинаете, – вспыхнула сестра Корнева.

Мать Корнева как-то испуганно поджала губы, морщинки сбежались на ее лице, и она огорченно ответила:

– Что ж, нельзя и род свой вспомнить?

– Все это не важно, – перебил Корнев. – Род ваш отличный, и никто от него не думает отказываться, а ежели бы вот к тому же кофейку, так и ручку даже можно поцеловать.

– Ох ты, мой голубчик! – проговорила мать и, обратившись к Карташеву, весело спросила: – Ну, видали вы кого лучше? – и, сделав добродушно-лукавое лицо истой хохлушки, она подняла руку по направлению к сыну.

Карташев, как очарованный, смотрел на эту обворожившую его простоту и готов был, если б не стыдно только было, поцеловать эту сморщенную маленькую добрую женщину.

– Да ей-богу же, поцелую, – сказала мать Корнева и, обняв Карташева, поцеловала его в лоб.

Карташев так покраснел, что покраснели и мать и сестра, которая даже захлопала в ладоши.

– Это мой! – говорила мать, положив руку на плечо Карташеву. – Тих усих соби бери, а ций такой же дурень, як ты. Хоть ему голову всунь, не откусит.

Подали кофе, и, несмотря на неоднократные попытки Корнева, Карташев так и не уединился с ним, а все время оставался с его семьей. Только перед самым уходом он зашел к нему в комнату и взял два тома Писарева.

– Довольно покамест, прочтешь, еще дам.

– Ну, отлично.

– Смотрите же, приходите, – сверкнула ему своими жгучими глазами сестра. – И не к Васе, а к нам.

– К нам, к нам, – кричала вдогонку мать.

Карташев блаженно улыбался, поворачивался и, энергично срывая с головы шапку, все кланялся и кланялся.

– Вот, Вася, первый твой товарищ, который действительно симпатичный, – решительно сказала сестра.

– Да, он ничего себе, – согласился Корнев.

– У него сердце, как на ладонце, ото друг, а твой Долба только и глядит, як тый вивк, по сторонам... Рьльский важный: кто его знае, що там в середке у него.

– И красивые глаза у него...

– Влюбись, тебе недолго.

– Да уж скорее, чем в твоего Рьльского.

И сестра сделала капризную, пренебрежительную гримасу.

– Ну, ну, деточки... раночки, раночки.

А Карташев шел, точно волна его несла: он думал о сестре Корнева, целовал ее волосы, шею, называл уменьшительными именами и сильнее прижимал к своему боку два аккуратных томика Писарева. Все было хорошо – и новое знакомство, и сестра Корнева, и Писарев. Сегодня же он постигнет премудрость, уже у него этот ключ знания того, что дает такую силу словам Корнева. И опять его мысли возвращались к сестре Корнева, и опять она смотрела на него, и он весь замирал под охватывающим его волнением.

Ах, если б волшебной силой можно было разорвать все путы, броситься к ней и сказать: «Я люблю тебя, я твой до конца жизни! Видеть тебя, смотреть в твои глаза, целовать твои волосы – вот все счастье, вся радость моей жизни».

Карташев вспомнил, как она переходила дорогу, вспомнил маленький след, отпечатавшийся на земле от ее новенькой резиновой калоши, и его и к следу ее потянуло так, что он сам не знал, что сильнее отпечаталось в его сердце – этот ли след или – вся она, отныне царица и мучительница его сердца.

### III

## МАТЬ И ТОВАРИЩИ

Дома Карташев умолчал и о Писареве, и о семействе Корнева. Пообедав, он заперся у себя в комнате и, завалившись на кровать, принялся за Писарева.

Раньше как-то он несколько раз принимался было за Белинского, но тот никакого интереса в нем не вызывал. Во-первых, непонятно было, во-вторых – все критика таких сочинений, о которых он не слышал, а когда спрашивал мать, то она говорила, что книги эти вышли уже из употребления. Так ничего и не вышло из этого чтения. С Писаревым дело пошло совсем иначе: на каждом шагу попадались знакомые уже в речах корневской компании мысли, да и Писарев усвоился гораздо легче, чем Белинский.

Когда Карташев вышел к чаю, он уж чувствовал себя точно другим человеком, точно вот одно платье сняли, а другое надели.

Принимаясь за Писарева, он уже решил сделаться его последователем. Но когда начал читать, то, к своему удовольствию, убедился, что и в тайниках души он разделяет его мнения. Все было так ясно, так просто, что оставалось только запомнить получше – и конец. Карташев вообще не отличался усидчивостью, но Писарев захватил его. Места, поражавшие его особенно, он перечитывал даже по два раза и повторял их себе, отрываясь от книги. Ему доставляла особенно наслаждение эта вдруг появившаяся в нем усидчивость.

Иногда он наталкивался на что-нибудь, с чем не соглашался, и решал обратить на это внимание Корнева. «Что ж, что не согласен? Сам Писарев говорит, что не желает слепых последователей».

Карташев чувствовал даже удовольствие от мысли, что он не согласен с Писаревым.

«Наверно, Корневу это будет неприятно». – думал он.

На другой день под предлогом нездоровья он не пошел в гимназию, следующий был воскресенье, а когда в понедельник он наконец отправился в класс, то уж оба томика Писарева были исправно прочитаны.

От матери не скрылось усиленное чтение сына, и она, войдя к нему в кабинет, некоторое время смущенно рассматривала книгу.

Карташев внимательно наблюдал ее.

– Ты читала? – спросил он.

– Откуда ты взял? – спросила, в свою очередь, мать.

– У товарища одного: Корнева.

– Читала, – сказала мать и задумалась. – Я хотела, чтоб ты позже познакомился с этой книгой.

– Я и так почти единственный в классе, который не читал Писарева. Я думаю, и тебе неприятно, чтоб твой сын, как дурак, мигал и хлопал глазами, когда другие говорят умные вещи...

– Мне, конечно, это неприятно, но мне еще неприятнее было бы, если б мой сын, как дурак, повторял чужие слова и мысли, не будучи в силах сам критически к ним отнестись.

Карташев, ничего не говоря, подошел к своему столу и взял исписанный лист бумаги.

– Прочти... это тебе покажет, умею ли я критически относиться к тому, что читаю.

– Это что?

– Это выписаны места, с которыми я не согласен.

Заметки были вроде следующего:

«Я не могу согласиться насчет музыки, – он любил сигары, а я музыку».

Мать подавила улыбку и проговорила:

- Читай.
- Знаешь, Корнев сказал: «Как это у тебя такая умная и развитая мать и до сих пор не дала тебе Писарева».
- Карташев любовался исподтишка смущением матери и ждал ее ответа.
- Корневу мать дала?
- Нет... У Корнева мать простая совсем.
- Ты видел ее?
- Я вот заходил, когда книги брал у него.
- Кто ж у него еще?
- Сестра есть.
- Большая?
- Лет пятнадцати, верно.
- Учится?
- Да, в гимназии. Мы ее и встретили возле гимназии, когда шли... Вот Зина жалуется на меня, а посмотрела бы на Корнева...
- Что ж, он обижает сестру?
- Не обижает, а воли ей над собой не дает.
- А над тобой кто ж волю дает?
- Ну-у...
- Что ж, Корнев и к тебе станет ходить, или ты только к нему?
- Карташев сдвинул брови.
- Я его не звал.
- В обществе, по крайней мере, принято, что раз ты бываешь, то и у тебя должны бывать.
- Какое ж мы общество?
- Да уж раз вам дело до Писарева, значит, вы взрослые.
- Писареву все равно, будут ли люди соблюдать разные такие житейские церемонии или нет, – усмехнулся Карташев.
- Вот ты как! Ну, а все-таки я бы тебя попросила – пока ты у меня в доме, бывать только у тех, кто и тобой не пренебрегает.
- Да за что же ему мной пренебрегать?
- А в таком случае зачем же он к тебе не идет? Ты уж не маленький и должен понимать, что самолюбие выше всего: раз позволишь себе наступить на ногу – и конец, – на тебя всегда будут сверху вниз смотреть.
- Да я уверен, что он и придет ко мне.
- Посмотрим.

После первых двух томов Писарева Карташев прочел еще несколько других, заглянув в Добролюбова, просмаковал введение Бокля, читал Щапова и запомнил, что первичное племя, населявшее Россию, было курганное и череп имело субликоцефалический.

Отношения Корнева и Карташева изменились: хотя споры не прекращались и носили на себе все тот же страстный, жгучий характер, но в отношении вкралось равенство. Карташева стала приглашать партия Корнева на свои вечера: Карташев потянул за собой и свою компанию. Даже Семенов примирился, бывал на чтениях и убедился, что там не происходит ничего, за что могло бы последовать исключение кого бы то ни было из гимназии.

Берендя тоже с жаром и страстностью набросился на чтение и постепенно приобрел некоторое уважение в кружке как человек начитанный, с громадной памятью, как ходячая энциклопедия всевозможных знаний.

Иногда, если у компании хватало терпения, его дослушивали до конца, и тогда из тумана высокопарных слов выплывала какая-нибудь оригинальная, обобщенная и обоснованная мысль.

Корнев тогда задумывался, грыз ногти и пытливым взглядом заглядывал ему в глаза, пока высокий Берендя, в позе танцора, подымаясь еще выше на носки и осторожно прижимая руки к груди, спешно выкладывал перед всеми свои соображения.

Только в глазах Вервицкого Берендя сохранил свой прежний вид дурня и растеряхи в практической жизни. Впрочем, таким он и был в общежитейских отношениях: был на счету у начальства неспособным, имел плохие отметки, по математике из двойки не вылезал и только по истории имел круглую пятерку. Историю, и особенно русскую, он любил до болезни. Обладая громадной памятью, он помнил все года и перечитал массу исторических русских книг.

Барометр товарищеских отношений – Долба снисходительно трепал Берендю по плечу и добродушно говорил:

– Бокль не Бокль, а дай же, боже, щоб наше теля да вивка съило.

Аглаида Васильевна добила наконец своего. Однажды Карташев после долгих колебаний (он все боялся, что не захотят к нему прийти) пригласил к себе Корнева, Рыльского, Долбу и прежних своих приятелей – Семенова, Вервицкого и Берендю.

Прежние приятели уже собрались и пили вечерний чай за большим семейным столом, когда раздался звонок и в переднюю ввалились вновь прибывшие. Они раздевались, переглядывались между собою и громко перебрасывались словами.

Рыльский, прежде чем войти, вынул чистенький гребешочек, причесал им и без того свои гладкие, мягкие, золотистые волосы, оправил *rinse-pez*, весело покосился на замечание Корнева «хорош», проговорив «рыло», и первый вошел в гостиную. Увидев общество в другой комнате, он уверенно направился туда.

За ним вошел Корнев, невозможно перекосив лицо и с каким-то особенно глубокомысленным, сосредоточенным видом.

Сзади всех, покачиваясь, с оттенком какого-то пренебрежения и в то же время конфузливости, шел Долба, потирая руки и ежась, точно ему было холодно.

Карташев вышел в гостиную навстречу гостям и сконфуженно пожал им руки. Несколько мгновений он стоял перед своими гостями, а гости стояли перед ним, не зная, что с собою делать.

– Тёма, веди своих гостей в столовую! – выручила мать.

Раскланиваясь перед Аглаидой Васильевной, Рыльский шаркнул, наклонив голову, и, вежливо еще раз поклонившись, пожал протянутую ему руку. Корнев слил все в одном поклоне, сжал крепко руку, низко наклонил голову и еще больше перекосил лицо. Долба размашисто наклонился и после пожатия, поднимая голову, энергично потрянул волосами, и они, разлетевшись веером, опять улеглись на свои места.

– Очень приятно, очень рада, господа, познакомиться, – говорила Аглаида Васильевна, приветливо и внимательно окидывая взглядом гостей.

Карташев в это время весь превратился в зрение и, по своей впечатлительности, не замечал, как он и сам кланялся, когда представлялись его товарищи.

– Ты, чем кланяться, представь-ка лучше сестре, – посоветовал добродушно Рыльский, смотревший в это время на сестру Карташева в нерешительном ожидании, когда его представят.

Зинаида Николаевна весело рассмеялась, Рыльский тоже – и все сразу получило какой-то непринужденный, свободный характер.

Рыльский сел возле Зинаиды Николаевны, смеялся, острил, ему помогал Семенов. Корнев завел серьезный разговор с Аглаидой Васильевной. Долба разговаривал с Карташевым, Вервицкий и Берендя молча слушали.

Зинаида Николаевна, уже семнадцатилетняя барышня, в последнем классе гимназии, ожидавшая гостей брата с некоторым пренебрежением, раскраснелась, разговорилась, и мать с удовольствием подметила в своей дочери способность и занимать гостей, и уметь нравиться без всяких шокирующих манер. Все в ней было просто до скромности, но как-то естественно изящно: поворот головы, смущенье, манера опускать глаза – все удовлетворяло требовательную Аглаиду Васильевну. Зато Тёма оставлял желать многого: он конфузился, разбрасывался, не зная, что делать с своими руками, и невыносимо горбился.

Корнев еще хуже горбился. Зато Рыльский держал себя безукоризненно. Его поклоны и манеры обворожили всех. Долба производил какое-то болезненное впечатление желанием чем-нибудь, как-нибудь выдвинуться. У Семенова была видна домашняя дрессировка. Вервицкий и Берендя были для Аглаиды Васильевны старые знакомые медвежата.

Общество перешло в гостиную. Аглаида Васильевна, пропустив всех, мысленно определяла место своего сына в обществе его товарищей.

Зинаида Николаевна села за рояль, Семенов принялся открывать свою скрипку. Рыльский стал возле рояля, Корнев и Долба с кислой физиономией ходили вдоль окон и посматривали по сторонам. Корнев жалел, что пришел и теряет вечер в неинтересной для него обстановке.

Аглаида Васильевна ушла и возвратилась, держа за руку Наташу.

Стройная пятнадцатилетняя Наташа, вся разгоревшись, смотрела своими глубокими большими глазами так, как смотрят в пятнадцать лет на такое крупное событие, как первое знакомство с таким большим обществом. Она как-то и доверчиво, и неуверенно, и робко протягивала свою изящную ручку гостям. Ее густые волосы были заплетены в одну толстую косу сзади.

Появление ее было встречено общим удовольствием: она сразу произвела впечатление. Корнев впился в нее глазами и энергично принялся за свои ногти. Лучистые глаза Беренди стали еще лучистее.

Зина мельком окинула сестру, гостей, и удовольствие пробежало по ее лицу. Ей был приятен и эффективный выход сестры, и, может быть, и то, что Семенов и Рыльский остались при ней. Это она почувствовала сразу по свойству женской природы. Почувствовала это и мать и, оставив дочь возле Корнева, принялась за Долбу.

Долба горячо и уверенно говорил с ней о притеснениях урядников в деревне. Аглаида Васильевна никогда не предполагала, чтобы урядники были таким злом. У нее у самой имение... Он сам откуда? Недалеко от ее имения? Вот как! Очень приятно. Летом, она надеется...

– Очень приятно, – говорил Долба, смеялся и шаркал ногами.

Только он ведь медведь, простой деревенский медведь, он боится быть скучным, неинтересным гостем.

Аглаида Васильевна на мгновение опустила глаза, легкая усмешка пробежала по ее лицу, она посмотрела на сына и заговорила о том, как быстро идет время и как странно ей видеть таким большим своего сына. Он совсем почти большой, шутка сказать, через каких-нибудь два года уже в университете. Долба слушал, смотрел на Аглаиду Васильевну и весело думал: «Ловкая баба».

Семенов устроился, наладился, вытянул руку, и по зале понеслись твердые звуки скрипки попеременно с мягкой мелодичной игрой Зинаиды Николаевны.

– Хорошо Зинаида Николаевна играет, – похвалил Рыльский.

Зинаида Николаевна вспыхнула, а Семенов сосредоточенно кивнул головой, продолжая выводить ровные твердые звуки.

– А вы играете? – спросил Корнев, заглядывая в глаза Наташи.

– Плохо, – робко, обжигая взглядом, ответила Наташа так, как будто просила извинения у Корнева. Корнев опять принялся за ногти и чувствовал себя особенно хорошо.

Вечер прошел незаметно и оживленно. Аглаида Васильевна с большим тактом сумела позаботиться о том, чтобы никому не было скучно: было и свободно, но в то же время чувствовалась какая-то незаметная, хотя и приятная рука.

С приходом последнего гостя, Дарсье, сразу очаровавшего всех непринужденностью своих изящных манер, совершенно неожиданно вечер закончился танцами: танцевали Дарсье, Рыльский и Семенов. Даже танцевали мазурку, причем Рыльский прошелся так, что вызвал общий восторг.

Наташа сперва не хотела танцевать.

– Отчего же? – иронически убеждал ее Корнев. – Вам это необходимо... Вот года через три начнете выезжать, там... ну, как все это водится.

– Я не люблю танцев, – отвечала Наташа, – и никогда выезжать не буду.

– Вот как... отчего ж это?

– Так... не люблю...

Но в конце концов и Наташа пошла танцевать.

Ее тоненькая, стройная фигурка двигалась неуверенно по зале, торопливо забегая вперед, а Корнев смотрел на нее и сосредоточеннее обыкновенного грыз свои ногти.

– Н-да... – протянул он рассеянно, когда Наташа опять села возле него.

– Что да? – спросила она.

– Ничего, – нехотя ответил Корнев. Помолчав, он сказал: – Я все вот хотел понять, в чем тут удовольствие в танцах... Я, собственно, не против движений еще более диких, но... это удобно на воздухе где-нибудь, летом... знаете, находит вот этакое настроение шестимесячного теленка... видали, может, как, поднявши хвост... Кажется, я употребляю выражения, не принятые в порядочном обществе...

– Что тут неприязного?

– Тем лучше в таком случае... Так вот и я иногда бываю в таком настроении...

– Бывает, бывает, – вмешался Долба, – и тогда мы его привязываем на веревку и бьем.

Долба показал, как они бьют, и залился своим мелким смехом. Но, заметив, что Корневу что-то не понравилось, он смутился и деловым и в то же время фамильярным голосом спросил:

– Послушай, брат, а не пора ли нам и убираться?

– Рано еще, – вскинула глазами Наташа на Корнева.

– Да что тебе, – ответил Корнев, – сидишь и сиди.

– Ну что ж: кутить так кутить...

Корнев не жалел больше о потерянном вечере.

Уже когда собирались расходиться, Берендя вдруг выразил желание сыграть на скрипке, и сыграл так, что Корнев шепнул Долбе:

– Ну, если б теперь луна да лето: тут бы все и пропали...

На обратном пути все были под обаянием проведенного вечера.

– Да ведь маменька-то, черт побери, – кричал Долба, – старшая сестра: глаза-то, глаза. Ах, черт... глаза у них у всех...

– Ах, умная баба, – говорил Корнев. – Ну, баба...

– Да-да... – соглашался Рыльский. – Наш-то под каблучком.

– Та-а-кая тюря!

И Долба, приседая, залился своим мелким смехом. Ему вторил веселый молодой хохот остальной компании и далеко разносился по сонным улицам города.

У Каргашевых долго еще сидели в этот вечер. В гостиной продолжали гореть лампы под абажурами, мягко оттеняя обстановку. Зина, Наташа и Тёма сидели, полные ощущения вечера и гостей, которые еще чувствовались в комнатах.

Зина хвалила Рыльского, его манеру, его находчивость, остроумие; Наташе нравился Корнев и даже его манера грызть ногти. Тёме нравилось все, и он жадно ловил всякий отзыв о своих товарищах.

– У Дарсье и Рыльского больше других видно влияние порядочной семьи, – говорила Аглаида Васильевна.

Каргашев слушал, и в первый раз с этой стороны освещались пред ним его товарищи: до сих пор мерило было другое, и между ними всегда выдвигался и царил Корнев.

– У Семенова натянутость некоторая, – продолжала Аглаида Васильевна.

– Мама, ты заметила, как Семенов ходит? – быстро спросила Наташа, и, немного расставив руки, вывернув носки внутрь, она пошла, вся поглощенная старанием добросовестно представить себе в этот момент Семенова.

– А твой Корнев вот так грызет ногти! – И Зина карикатурно сгорбилась в три погибели, изображая Корнева.

Наташа внимательно, с какой-то тревогой следила за Зиной и вдруг, весело рассмеявшись, откидывая свою косу, сказала:

– Нет, не похож...

Она решительно остановилась.

– Вот...

Она немного согнулась, устала глаза в одну точку и раздумчиво поднесла свой маленький ноготок к губам: Корнев, как живой, появился между разговаривавшими.

Зина вскрикнула: «Ах! как похож!» Наташа весело рассмеялась и сразу сбросила с себя маску.

– Надо, Тёма, стараться держать себя лучше, – сказала Аглаида Васильевна, – ты страшно горбишься... Мог бы быть эффектнее всех своих товарищей.

– Ведь Тёма, если б хорошо держался, был бы очень представительный... – подтвердила Зина. – Что ж, правду сказать, он очень красив: глаза, нос, волосы...

Тёма конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время неприятно морщился.

– Ну, что ты, Тёма, точно маленький, право... – заметила Зина. – Но все это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадает куда-то... Глаза делаются просительными, точно вот-вот копеечку попросишь...

Зина засмеялась. Тёма встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него.

– А как ловко танцевать с Рыльским! – воскликнула Зина. – Не чувствуешь совсем...

– А с Семеновым я все сбивалась, – сказала Наташа.

– Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует... с ним удобно... только ему надо начать... Дарсье отлично танцует.

– У тебя очень милая манера, – бросила мать Зине.

– Наташа тоже хорошо танцует, – похвалила Зина, – только немножко забегает...

– Я совсем не умею, – ответила Наташа, покраснев.

– Нет, ты очень мило, только торопиться не надо... Ты как-то всегда прежде кавалера начинаешь... Вот, Тёма, не хотел учиться танцевать, – закончила Зина, обращаясь к брату, – а если бы тоже танцевал, как Рыльский.

– А ты бы мог хорошо танцевать, – сказала Аглаида Васильевна.

У Тёмы в воображении представился он сам, танцующий, как Рыльский: он даже почувствовал его *rinse-peuz* на своем носу, оправился и усмехнулся.

– Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож, – вскрикнула Зина и предложила: – Давай, Тёма, я тебя сейчас выучу польку. Мама, играй.

И неожиданно, под музыку Аглаиды Васильевны, началась дрессировка молодого медвежонка.

– Раз, два, три, раз, два, три! – отсчитывала Зина, приподняв кончик платья и проделывая перед Тёмой па польки.

Тёма конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване, смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к нему, и какое-то раздумье, а Зина только изредка улыбалась, решительно поворачивая брата за плечи, и приговаривала:

– Ну, ты, медвежонок!

– Ой, ой, ой! Четверть первого: спать, спать! – заявила Аглаида Васильевна, поднявшись со стула, и, осторожно опустив крышку рояля, потушила свечи.

Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала, то вместе, то каждый порознь.

Карташев не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденною потребностью в силу желания осмыслить себе окружающую жизнь, то для Карташева чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого положения «неуча», в каком он себя чувствовал.

Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был «неуч», но Яковлев, во-первых, обладал способностью скрывать свое невежество, а во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло. Страстная натура Карташева, напротив, толкала его так, что нередко действия его получали совершенно произвольный характер. С такой натурой, с потребностью действовать, создавать или разрушать – плохо живет полуобразованным людям: *demi-instruit – double sot*<sup>1</sup>, – говорят французы, и Карташев достаточно получил ударов на свою долю от корневской компании, чтоб не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из потемок, окружавших его. Конечно, и читая, по множеству вопросов он был еще, может быть, в большем тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнело его, как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтоб надушиться, мечтать о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие – неряшливость в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его своим уже, дружески хлопал его по плечу и говорил за него на упрек его матери:

– Куда нам с суконным рылом!

Карташев в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное рыло, чтоб только не походить на какого-нибудь франтоватого Неручева, их соседа по имению.

Компания после описанного вечера, как ни весело провела время, избегала под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду Васильевну это огорчало, огорчало и Карташева, но он шел туда, куда шли все.

– Нет, я не сочувствую вашим вечерам, – говорила Аглаида Васильевна, – учишься ты плохо, для семьи стал чужим человеком.

– Чем же я чужой? – спрашивал Карташев.

– Всем... Прежде ты был любящим, простым мальчиком, теперь ты чужой... ищешь недостатки у сестер.

---

<sup>1</sup> Полуобразованный – вдвойне дурак (*фр.*).

– Где же я их ищу?

– Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями.

– Я вовсе не смеюсь, но если Зина видит свою радость в каком-нибудь платье, то мне, конечно, смешно.

– А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное право имеет радоваться новому платью.

Карташев слушал, и в душе ему было жаль Зину. В самом деле: пусть радуется своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь другое, за этим опять свое, и вся сеть условных приличий снова охватывала и оплетала Карташева до тех пор, пока он не восставал.

– У тебя все принято, не принято, – горячо говорил он сестре, – точно мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда... яйца выеденного не стоит. Корнева ни о чем этом не думает, а дай бог, чтоб все такие были.

– О-о-о! Мама! Что он говорит?! – всплескивала руками Зина.

– Чем же Корнева так хороша? – спрашивала Аглаида Васильевна. – Учится хорошо?

– Что ж учится? Я и не знаю, как она учится.

– Да плохо учится, – с сердцем пояснила Зина.

– Тем лучше, – пренебрежительно пожимал плечами Карташев.

– Где же предел этого лучше? – спрашивала Аглаида Васильевна, – быть за неспособность выгнанной из гимназии?

– Это крайность: надо учиться середка наполовинку.

– Значит, твоя Корнева середка наполовинке, – вставляла Зина, – ни рыба ни мясо, ни теплое ни холодное – фи, гадость!

– Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплему.

– Очень много имеет, мой милый, – говорила Аглаида Васильевна. – Я себе представляю такую картину: учитель вызывает: «Корнева!» Корнева выходит. «Отвечайте!» – «Я не знаю урока». Корнева идет на место. Лицо у нее при этом сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства!

Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташеву неприятно и тяжело: мать сумела в его глазах унизить Корневу.

– Она много читает? – продолжает мать.

– Ничего она не читает.

– И не читает даже...

Аглаида Васильевна вздохнула.

– По-моему, – грустно говорит она, – твоя Корнева пустынькая девчонка, к которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на ее пустоту.

Карташев понимает, на что намекает мать, а скрепя сердце принимает вызов:

– У нее мать есть.

– Перестань, Тёма, говорить глупости, – авторитетно останавливает мать. – Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями.

– Какими поколениями? Все от Адама.

– Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него не доступно то, что понятно тебе.

– Потому что я образованнее.

– Потому что ты воспитаннее... Образование одно, а воспитание другое.

Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала:

– Тёма, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву... Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь, грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.

– Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.

– Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал.

Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.

Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.

Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.

– Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, – сказал он матери с силой и выразительностью, – а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь...

– Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.

Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:

– Мама, я иду к Корневу.

И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.

## IV ГИМНАЗИЯ

В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.

С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.

С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие – уважения, третьи – ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Хорошая амфибия – надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия – учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.

Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:

– Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.

А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.

Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.

Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.

Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.

Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».

В общем, это был тиран – убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.

Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.

Такое заигрыванье редко сходило даром.

Однажды, как только кончилась переключка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:

– Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.

– Какое-с? – сухо насторожился учитель.

– Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.

– Говорите-с!

Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.

Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.

По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.

Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипятки, на голову Карташева:

– До такой гадости... до такой пошлости может довести человека желанье вечно оригинальничать...

Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впающую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.

– В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.

Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.

– История нам говорит, – не утерпел он, бледнее и подымаясь с перекосившимся лицом, – что многое из того, что современникам казалось шутовским и не стоящим внимания, в действительности оказывалось совсем другим.

– Ну-с, а это не окажется, – круто повернул к нему свои темные очки учитель. – И не окажется по тому по самому, что это – история, а не передержка. Ну-с, во всяком случае, это не современная тема. Что задано?

Учитель погрузился в книгу, но сейчас же оторвался и снова заговорил:

– Мальчишеству нет места в истории. Пятьдесят лет тому назад живший поэт для понимания требует знания эпохи, а не выдергиванья его из нее и привлечения в качестве подсудимого на скамью современности.

– Но стихи этого поэта «Подите прочь»<sup>2</sup> мы, современники, учим на память...

Митрофан Семенович высоко поднял брови, оскалил зубы и молча смотрел, как скелет в синих очках, на Корнева.

– Да-с, учите... должны учить... и если не будете знать, получите единицу... И не вашей-с компетенции это дело.

– Может быть, – вмещался Долба, – мы не компетентны, но хотим быть компетентными.

– Ну-с, Дарсье! – вызвал учитель.

Долба встретился глазами с Рьльским и пренебрежительно потупился.

Когда урок кончился, Карташев сконфуженно поднялся и вытянулся.

– Что, брат, отбрил тебя? – добродушно хлопнул его по плечу Долба.

– Отбрил, – неловко усмехнулся Карташев, – черт с ним.

– Да не стоит с ним и спорить, – согласился Корнев. – Что ж это за приемы? неграмотные, мальчишки... А если бы только его грамотой ограничивались, так были бы грамотные?

– Положим... – начал было своим обычным авторитетным тоном Семенов.

– Пожалуйста, не клади, – весело перебил его Рьльский, – потому что положишь и не подынешь.

Учитель истории Леонид Николаевич Шатров давно завоевал себе популярность между учениками.

Он поступил учителем в гимназию как раз в тот год, когда описываемая компания перешла в третий класс.

И своей молодостью, и мягкими приемами, и тем одухотворенным, что так тянет к себе молодые, нетронутые сердца, Леонид Николаевич постепенно привлек к себе всех, так что в старших классах ученики относились к нему и с уважением и с любовью. Одно огорчало их, что Леонид Николаевич славянофил, хотя и не «квасной», как пояснял Корнев, а с конфедерацией славянских племен, с Константинополем во главе. Это смягчало несколько тяжесть его вины, но все-таки компания становилась в тупик: не мог же он не читать Писарева, а если читал, то неужели же он так ограничен, что не понял его? Как бы то ни было, но ему извиняли даже славянофильство и урок его всегда ожидался с особым удовольствием.

Появление его неказистой фигуры, с большим широким лбом, длинными прямыми волосами, которые он то и дело закладывал за ухо, с умными, мягкими, карими глазами, всегда как-то особенно возбуждало учеников.

И его «пытали». То книжку Писарева нечаянно забудут на столе, то кто-нибудь пустит вскользь на тему из области общих вопросов, а то выскажет и связное соображение. Учитель выслушает, усмехнется, пожмет плечами и скажет:

– Сократитесь, почтеннейший!

А то заметит:

– Экие еще ребята!

И так скажет загадочно, что ученики не знают, радоваться им или печалиться, что они еще ребята.

---

<sup>2</sup> Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа».

Леонид Николаевич очень любил свой предмет. Любя, он заставлял и соприкасавшихся с ним любить то, что любил сам.

В тот урок, когда он, сделав переключку, скромно подымался и, закладывая прядь волос за ухо, говорил, спускаясь с своего возвышения: «Я сегодня буду рассказывать», – класс превращался в слух и готов был слушать его все пять уроков подряд. И не только слушали, но и аккуратно записывали все его выводы и обобщения.

Манера говорить у Леонида Николаевича была какая-то особенная, захватывавшая. То, расхаживая по классу, увлеченный, он группировал факты, для большей наглядности точно хватая рукой их в кулак своей другой руки, то переходил к выводам и точно вынимал их из зажатого кулака взамен тех фактов, которые положил туда. И всегда получался ясный и логичный вывод, строго обоснованный.

В рамках научной постановки вопроса, более широкой, чем программа гимназического курса, ученики чувствовали себя и удовлетворенными и польщенными. Леонид Николаевич пользовался этим и организовал добровольную работу. Он предлагал темы, и желающие брались, руководствуясь указанными им источниками и своими, если боялись одностороннего освещения вопроса.

Так, в шестом классе одну тему – «Конфедерация славянских племен в удельный период» – долго никто не хотел брать. Решился наконец Берендя, выговорив себе право, что если, после знакомства с указанным учителем главным источником, Костомаровым, постановка вопроса ему не понравится, то он волен прийти к другому выводу.

– Обоснованному? – спросил Леонид Николаевич.

– Ко-конечно, – прижал Берендя свои пальцы к груди и поднялся, по обыкновению, на носки.

Однажды Леонид Николаевич пришел в класс против обыкновения расстроенный и огорченный.

Новый попечитель, осмотрев гимназию, остался недоволен некоторой распушенностью учеников и недостаточностью фактических знаний.

Между другими был вызван к попечителю и Леонид Николаевич, и прямо с объяснения, очевидно неблагоприятного для него, он пришел в класс.

Ученики не сразу заметили скверное расположение духа учителя.

Сделав переключку, Леонид Иванович вызвал Семенова.

Ученики надеялись, что сегодняшняя лекция пройдет в рассказе.

Разочарование было неприятное, и все со скучными лицами слушали ответ Семенова.

Семенов тянул и старался выехать на общих местах.

Леонид Николаевич, наклонив голову, слушал, скучный, с болезненным лицом.

– Год? – спросил он, заметив, что Семенов уклонился от указания года.

Семенов сказал первый, подвернувшийся ему на язык, и соврал, конечно.

– Храбро, но Георгиевского креста не получите, – заметил полураздраженно, полушутя Леонид Николаевич.

– Он его получит при взятии Константинополя, – вставил Рыльский.

Леонид Николаевич нахмурился и опустил глаза.

– Никогда не получит, – задорно отозвался Карташев с своего места, – потому что федерация славянских племен с Константинополем во главе – неосуществимая ерунда.

– Вы, почтеннейший, сократитесь, – сказал Леонид Николаевич, поднимая на Карташева загоревшиеся глаза.

Карташев сконфузился и замолчал, но Корнев вступился за Карташева. Он проговорил язвительно и едко:

– Хороший способ полемизировать!

Леонид Николаевич побагровел, и жилы налились на его висках. Некоторое время длилось молчание.

– Корнев, станьте без места.

С третьего класса Леонид Николаевич никого не подвергал такому унижительному наказанию.

Корнев побледнел, и лицо его перекошилось.

Гробовое молчание воцарилось в классе.

– Я не стану, – ответил замогильным голосом Корнев, приподымаясь с места.

Опять все смолкло. Что-то страшное надвинулось и вот-вот должно было воплотиться в какой-то непоправимый факт. Все напряженно ждали. Леонид Николаевич молчал.

– В таком случае прошу вас выйти из класса, – проговорил он, не поднимая глаз.

Точно камень свалился с плеч у каждого.

– Я не считаю себя виноватым, – заговорил Корнев. – Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я не сказал ничего такого, чего бы вы не разрешили мне сказать в другое время. Но если вы признаете меня виноватым, то я пойду...

Корнев начал пробираться к выходу.

– Начертите карту Древней Греции, – вдруг сказал ему Леонид Николаевич, указывая на доску, когда Корнев проходил мимо него.

Вместо наказания Корнев принялся вырисовывать на доске заданное.

– Карташев! Причины и повод крестовых походов.

Это была благодарная тема.

Карташев по Гизо изложил обстоятельно причины и повод крестовых походов.

Леонид Николаевич слушал, и, по мере того как говорил Карташев, с лица его сбегало напряженное, неудовлетворенное чувство.

Карташев хорошо владел речью и нарисовал яркую картину безвыходного экономического положения Европы как результат произвола, насилия и нежелания своевольных вассалов считаться с назревшими нуждами народа... Приведя несколько примеров обострившихся до крайности отношений между высшим и низшим сословиями, он перешел к практической стороне дела: к поводу и дальнейшему изложению событий.

Леонид Николаевич слушал оживленную речь Карташева, смотрел в его возбужденно горевшие глаза от гордого сознания осмысленности и толковости своего ответа, – слушал, и им овладевало чувство, может быть, схожее с тем, какое испытывает хороший наездник, обучая горячую молодую лошадь и чуя в ней ход, который в будущем прославит и лошадь и его.

– Ну-с, прекрасно, – с чувством заметил Леонид Николаевич, – довольно.

– Рыльский, экономическое состояние Франции при Людовике Четырнадцатом.

В речи Рыльского не было тех ярких красок и переливов, какими красиво сверкала речь Карташева. Он говорил сухо, сжато, часто обрывал свои периоды звуком «э», вообще говорил с некоторым усилием. Но в группировке фактов, в наложении их чувствовалась какая-то серьезная деловитость, и впечатление картины получалось не такое, может быть, художественное, как у Карташева, но более сильное, бьющее фактами и цифрами.

Леонид Николаевич слушал, и чувство удовлетворения и в то же время какой-то тоски светилось в его глазах.

– Кончил, – заявил Корнев.

Леонид Николаевич повернулся, быстро осмотрел исписанную им доску и сказал:

– Благодарю вас... садитесь.

Совершенно особого рода отношения существовали между учениками и учителем латинского языка Дмитрием Петровичем Воздвиженским.

Это был уж немолодой, с сильной проседью, красноносый человек, сутуловатый и сгорбленный, с голубыми глазами цвета нежного весеннего неба, составлявшими резкий контраст с угреватым лицом и щетинистыми, коротко подстриженными на щеках и бороде волосами. Эти волосы торчали грязной седоватой щетиной, а большие усы шевелились, как у таракана. Вообще «Митя» был неказист с виду, часто приходил в класс выпивши и обладал способностью действовать на своих учеников так, что те сразу превращались в первоклассников-мальчишек. И Писарев, и Шелгунов, и Шапов, и Бокль, и Дарвин сразу забывались на те часы, когда бывали уроки латинского языка.

Никому не было дела до политических убеждений Мити, но много дела было до его красного большого носа, маленьких серых глаз, которые по временам вдруг делались очень большими, до его сутуловатой фигуры.

Еще издали заметивший его идущим по коридору влетал в класс с радостным криком:

– Идут!!

В ответ раздавался дружный рев сорока голосов. Подымалось вавилонское столпотворение: всякий по-своему, как хотел, спешил выразить свою радость. Ревели по-медвежьи, лаляли по-собачьи, кричали петухами, бил барабан. От избытка чувств вскакивали на скамьи, становились на голову, лупили друг друга по спинам, жали масло.

В дверях показывалась фигура учителя, и все мгновенно стихало, а затем, в такт его походки, все тихо, дружно приговаривали:

– Идут, идут, идут...

Когда он всходил на кафедру и останавливался вдруг у стола, все враз отрывочно вскрикивали:

– Пришли!

А когда он опускался на стул, все дружно кричали:

– И сели!

Водворялось выжидательное молчание. Нужно было выяснить вопрос: пьян Митя или нет?

Учитель принимал суровую физиономию и начинал щуриться. Это был хороший признак, и класс радостно, но нерешительно шептал:

– Щурится.

Вдруг он широко раскрывал глаза. Сомнения не было.

– Выкатил!! – раздавался залп всего класса.

Начиналась потеха.

Но учитель не всегда бывал пьян, и тогда при входе он сразу обрывал учеников, говоря скучным и разочарованным голосом:

– Довольно.

– Довольно, – отвечал ему класс и так же, как он, махал ручкой.

Затем следовало относительное успокоение, так как учитель хотя и был близорук, но так знал голоса, что, как бы ученики их ни меняли, всегда безошибочно угадывал виновника.

– Семенов, запишу, – отвечал он обыкновенно на какой-нибудь крик совы.

Если Семенов не унимался, то учитель и записывал его на лоскутке бумажки, причем говорил:

– Дайте мне клочок бумажки, – я вас запишу.

А класс на все лады повторял:

– Дайте мне клочок бумажки, – я вас запишу.

И все наперерыв спешили подать ему требуемое с тою разницею, что если он был трезв, то подавали бумагу, а если пьян, то несли, что могли: книги, шапки, перья – одним словом, все, только не бумагу.

Услыхали ученики, что учитель получил чин статского советника. В ближайший урок никто его иначе не называл, как «ваше превосходительство»... Причем каждый раз, как он собирался что-нибудь сказать, дежурный обращался к классу и испуганным шепотом говорил: – Те!.. Его превосходительство хотят говорить.

Известие, что Митя – жених, вызвало в учениках еще больший восторг. Это известие пришло как раз перед его уроком. Даже невозмутимый Яковлев, первый ученик, и тот поддался.

Рыльский согнул немного коленки, сгорбился, надул лицо и, приставив палец к губам, тихо, медленно, как надувшийся индюк, стал ходить, изображая Митю и приговаривая низким басом:

– Жених.

– Господа, надо почтить Митю, – предложил До лба.

– Надо, надо!

– Почтить Митю!

– Почтить! – подхватили со всех сторон и с жаром приступили к обсуждению программы праздника.

Решено было избрать депутацию, которая бы передала учителю поздравления класса. Выбрали Яковлева, Долбу, Рыльского и Берендю. Карташева забраковали по той причине, что он не выдержит и все дело испортит. Все было готово, когда в конце коридора появилась знакомая сутуловатая фигура учителя.

Долгополый форменный сюртук ниже колен, конусом вниз какие-то казацкие штаны, сверток под мышкой, густые волосы, щетина на щеках, колючая борода, торчащие усы и вся нахохлившаяся фигура учителя производила впечатление помятого после драки петуха. Когда он вошел, все чинно встали, и в классе воцарилась мертвая тишина.

Всех так и подмывало рявкнуть, потому что Митя был интереснее обыкновенного. Он шел, нацелившись, прямо к столу, неровно, быстро, стараясь соблюсти достоинство и стремительность в достижении цели, шел так, точно боролся с невидимыми препятствиями, боролся, одолевал и победоносно подвигался вперед.

Было очевидно, что на завтраке успели усердно поздравить жениха.

Лицо его было краснее обыкновенного: угри, налитый красный нос так и блестели.

– Просто хоть воду жми, – весело, громко заметил Долба, пожимая плечами.

Учитель усиленно заморгал, на мгновение задумался, уставившись в окно, и проговорил:

– Садитесь.

– Не можем, – ответил ему класс почтительным шепотом.

Митя опять задумался, выкатил глаза, замигал и повторил:

– Пустое, садитесь.

Тихий стон умирающих от нестерпимых судорог смеха сорока человек пронесся по классу.

С задних скамеек поднялись четыре выборных для поздравления депутата. Все они шли, каждый отдельно, по четырем проходам к учительскому месту, чинно и торжественно.

Учитель щурился, они шли, а класс, замирая, наблюдал.

Лучше других был Яковлев. Он священнодействовал. На его лице было написано такое величественное, несокрушимое достоинство, такое серьезное проникновение своей ролью и в то же время так коварно раздувались его ноздри, что без смеха на него нельзя было смотреть.

У Долбы получалось нечто неестественное, натянутое, желание разодолжить. Рыльский хотел быть актером и зрителем, к своей роли относился недостаточно серьезно. Долговязый Берендя шагал слишком невдохновенно своей обычной походкой человека, которого то и дело толкают в шею.

Когда депутаты вышли вперед скамеек, они остановились, выровнялись в одну линию и все враз, круто повернувшись лицом к классу, низко поклонились товарищам. Класс чинно и торжественно ответил своим уполномоченным таким же поклоном.

Митя по-прежнему только шурился на все эти загадочные действия и внимательно наблюдал то кланявшихся депутатов, то отвечавших им товарищей.

Откланявшись классу, депутаты, по два в ряд друг против друга, поклонились один другому сперва прямо, а затем накрест.

Новым маневром депутаты, четыре в ряд, стояли уже перед учителем и низко, почти-тельно кланялись ему в пояс. Приходилось волей-неволей выйти из роли наблюдателя.

Учитель сделал какое-то движение, среднее между поклоном и кивком головы, как бы говорившим: «Ну, положим... что ж дальше?»

Яковлев, слегка прокашлявшись, раздувая ноздри, начал:

– Дмитрий Петрович! товарищи поручили нам благодарить вас за честь, которую вы оказали одному из наших товарищей, вступая с ним в родство. Класс счастлив, узнав о вашем браке, и преподносит вам свои искренние поздравления.

– О да, искренние и самые сердечные поздравления, – пробасил кто-то.

– Кви-кви! – пронеслось по классу.

– Дмитрий Петрович! – говорил Яковлев, почтительно наклоняясь к учителю и раздувая ноздри.

Учитель, успевший и выкатить и прищуриться, задумался и, махнув, по обыкновению, ручкой, произнес своим обычным голосом:

– Пустое.

– Что, собственно, пустое? – почтительно спросил Яковлев.

– Все пустое.

– То есть как? Дело идет о браке... о счастье двух нежно любящих друг друга...

– Его нос любящий, – сорвался чей-то голос.

Класс завыл.

– Господа, я не могу... – сказал Яковлев, уже захлебываясь от смеха. – Вы мне мешаете...

Он зажал рот и не то заплакал, не то засмеялся.

Началось что-то совсем выходящее из ряда обыкновенного. Точно бешеный вихрь, пропитанный пьяными парами, ворвался в класс. Вскакивали, взвизгивали, били друг друга. Толпа ошалевала. Карташев, точно обезумевший, сорвался с места и подлетел к учителю.

Учитель прищурился на него.

– Что вам угодно?

Меньше всего мог ответить Карташев, чего ему было угодно. Что-то подпирало ему бока; горло судорожно сжималось, хотелось выкинуть что-нибудь такое, чтоб и он и другие сразу лопнули от смеха.

– Мне угодно...

Какая-то молния пронизала Карташева.

– Жениться... – взвизгнул он, не помня себя, и присел к полу.

Ответ Карташева окончательно выбил учеников из колеи. Уже не стесняясь, забыв о присутствии учителя, весь класс охватился безумием Карташева.

– О-ой! Па-а-длец! – стонал Корнев, вскакивая и снова падая на скамью.

Учитель совсем ошалел.

– Вы кто? – всматриваясь, спросил он Карташева.

На секунду Карташев, приподнявшись, попытался было вдуматься в серьезность и ответственность своего положения. Но слишком уж расходилась пьяная поверхность неудержимого веселья. Новая ее волна захлестнула благоразумный порыв, и, охваченный этой волной, с

новым подмывающим чувством ответственности Карташев с каким-то бесшабашным отчаянием взвизгнул:

– Я частный пристав.

Дикий вопль, рев пронесся в ответ по классу.

Учитель встал и заговорил вдруг голосом, сразу отрезвившим всех:

– Стыдитесь!

И, быстро захватив свой сверток, он вышел из класса.

Сразу оборвалось веселье, и все смотрели друг на друга, точно после крушения бешено разлетевшегося поезда.

Первое движение было чувство страха, что Митя пошел жаловаться.

Но пришел Иван Иванович и на невинный вопрос Долбы о Дмитрие Петровиче ответил:

– Заболел... домой ушел.

Значит, не пожаловался. Всех охватило вдруг раскаяние. Набросились на Карташева, стали упрекать его, что он вечно пересолит, что он испортил дело. Карташев принялся было оправдываться, передавать свои ощущения, как это все нечаянно вышло. Обвиняемый начал самым серьезным тоном, но, охваченный вдруг наплывом воспоминаний, кончил тем, что и сам, и все его судьи попадали на скамьи и зафыркали.

– Тише, господа, тише, – остановил Иван Иванович, выходя из своей задумчивости.

Урока два после этого в классе царило образцовое молчание, да и учитель приходил трезвым. Но потом Митя пришел опять выпивши и, по обыкновению, выкатив глаза, лукаво спросил, улыбаясь:

– Что ж так тихо, господа?

На это ему сначала рявкнули, а затем запели серенаду на мотив, специально для него сочиненный:

Воспеть тебя, о нос чухонский,  
В полночный час дерзаю я:  
И синь ты, нос, как свод небесный,  
И ал, как алая заря!

«И синь» «и ал» с каким-то меланхолическим воплем подхватывал на разные голоса весь класс.

Митя внимательно выслушал и снисходительно произнес:

– Не так громко.

Конечно, никто его не послушал, и все пошло по-старому.

Чего только не предпринимало гимназическое начальство, чтоб водворить надлежащий порядок на уроках Дмитрия Петровича: оставляло без обеда и в розницу, и всем классом, ставило единицы за поведение и даже временно исключило одного, но ничто не помогало.

Было только одно средство прекратить беспорядок на уроках Дмитрия Петровича: это удалить его. Но Дмитрию Петровичу оставалось до пенсии всего два года, и были причины, почему все хотели помочь этому человеку как-нибудь дотянуть до конца свою службу. Когда случалось кому-нибудь из товарищей Дмитрия Петровича слушать восторженные рассказы учеников о проделках на его уроках, вместо веселого смеха учитель говорил с горечью:

– Эх, господа, если б вы знали этого человека... Это была звезда между нами.

Жизнь Дмитрия Петровича начиналась при счастливых условиях. Он был уже магистром, собирался жениться, как вдруг за что-то попал в крепость. Через три года он вышел оттуда. Невеста его уж была замужем за другим; он долго не мог получить никакого занятия. Прежние его покровители от него отвернулись. Он начал пить и принял единственное место, какое соглашались ему дать: место учителя латинского языка.

– Слабый человек, – говорили о нем все в один голос, – но прекрасной души и прекрасных правил.

В кругу тех, кто приходился ему по душе, Дмитрий Петрович был другим человеком, с громадным запасом знаний, остроумным, незлобивым, с ясным взглядом на жизнь европейски образованного человека. Но для учеников он был только Митя, старый, пьяный Митя, который терпеливо и весело позволял издеваться над собой, сколько кому было угодно.

## V ЖУРНАЛ

Когда классы после вакаций только что начинались, рождество казалось таким далеким маяком среди однообразного, серого моря гимназической жизни.

Но вот и рождество: завтра сочельник и елка. Ветер гонит холодный снег по пустынным улицам и распахивает холодное форменное пальто Карташева, который один, не в обычной компании, спешит домой с последнего урока. Как быстро пролетело время. Где Данилов и Касицкий теперь? Море замерзло, вероятно. Давно, с тех пор как уехали друзья, не видал его Карташев.

Как переменялось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно, и чего бы он не дал, чтоб быть всегда с ней, чтоб иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием, но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит?! Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять... Жарко Карташеву среди снежной метели: полурасстегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето и зиму шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и этот дом и потом будит память. И мысль эта забудется, а дом все чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло и заныло, и рванулось к ней, но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. Ну, а если б она и догадалась, что он любит ее? О, это была бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него? Нет, не надо! И так хорошо: любить в своем сердце. Карташев оглянулся. Да, вот и рождество, две недели никаких уроков, на душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и аромат апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груды лакомств. А там, на кухне, колядуют. Они приходят оттуда с своими незатейливыми лакомствами: орехи, рожки, винные ягоды, им дарят платья, вещи.

Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях елки и камина, сейчас же после ужина, опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело бежит и возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет: «И я!». За ней Сережа, Маня, Ася, и все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать, нарядная, довольная, ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? – подумал Карташев, звоня у подъезда.

На другой день вечером ему подарили фунт табаку и табачницу. И хотя он давно уже потихоньку курил, но теперь, получивши подарок, он долго еще не решался закурить при матери. И когда закурил, то с серьезным, озабоченным лицом сейчас же сел за подаренные Сереже сказки и начал внимательно читать их. Мать улыбалась, смотрела на него и, встав, молча подошла к нему и поцеловала его в голову. Он смущенно поцеловал ей руку и опять поспешно уткнулся в книгу. Кругом было обычное возбуждение и радость всех, а он думал: «Что-то теперь делает компания?»

Как раз в это время раздался звонок, и скоро в передней послышались топанье ног и веселый, уверенный голос Корнева:

– Эй, кто в бога верует, можно колядовать.

Раздался смех остальных: Рыльского и Долбы.

Карташев обрадовался товарищам, точно вечность не видался с ними. Он бросился в переднюю. Гости вошли. Аглаида Васильевна ласково встретила их:

– Вот это мило с вашей стороны.

– Ну, и отлично, – сказал Корнев. – А мы так думали, думали, да и решили к вам.

– Пожалуйста, – подsunул Карташев свой табак гостям.

– Это что?! Разрешение? Поздравляю!

– Ведь мы, надо вам знать, с третьего класса курим.

Корнев добродушно подмигнул Аглаиде Васильевне, принимаясь за папироску.

– Очень жаль.

– Да, конечно, очень, очень жаль... А-а, наше вам...

Вошли Зина и Наташа. Хотели было играть на рояле, но Аглаида Васильевна по случаю поста не позволила.

– Что ж мы делать будем? – спросил Корнев.

– Так сидите, вот чаю напьетесь...

– Мы всегда в этот вечер Гоголя или Диккенса читаем, – сказала Наташа.

И, подумав, она прибавила:

– Давайте Гоголя читать.

– Ну что ж, Гоголя так Гоголя, – согласился Корнев.

– Вы его заставьте, – сказал Долба, – он так читает, что вы лопнете от смеха.

– Ну, какое там чтение! – сконфузился Корнев.

Но его заставили, и он читал так, что и Аглаида Васильевна вытирала слезы от смеха.

Сидели, слушали и в то же время щелкали орехи, фисташки, миндаль. Потом подали чай. Карташев разошелся на скользком вопросе о религии, и дело дошло до маленького скандала.

– Для чего, собственно, совершенство? – рассуждал, как равноправный и взрослый, Карташев. – Всякое совершенство тем совершеннее увидит зло и придет в отчаянье, отчаянье – порок. А если оно равнодушно, то это вдвое порок... Бесчувственное.

– Тёма! Как ни неприятно, а я должна тебя попросить замолчать.

Карташев сконфуженно уткнулся в свой стакан.

– Это что ж, цензура? – спросил Корнев.

– Да, цензура, – ответила твердо Аглаида Васильевна.

Рыльский пригнулся к сладостям и рылся в них.

– Цензура достигает цели? – спросил он, ни к кому не обращаясь.

– Да, вполне, – сухо ответила Аглаида Васильевна.

– Гм... – Рыльский поднял голову, скользнул взглядом по лицам товарищей и, сделав серьезное лицо, опустил глаза.

Карташев обиделся на мать, посидел немного и, встав, ушел к себе в комнату.

Разговор и оживление оборвались.

Когда окончили чай, гости один за другим тоже направились в комнату Карташева.

– Ты что лежишь? – спросил его Корнев.

– Так, – нехотя ответил Карташев.

– Эх-хе-хе, покурить, что ли? Эх, табак там оставили!

Карташев позвал Таню и приказал принести табак. Посидели еще, и Рыльский предложил:

– А не пойти ли нам к Дарсье?

– Так что? – встрепенулся Долба.

– Ну, останемся, – сказал Карташев.

– Идем, – уговаривал Корнев.

Карташеву и самому хотелось.

– Неловко перед матерью.

– Ну пойдя, выдумай ей что-нибудь, – сказал Рыльский, – не тебя учить.

– Вот что, – предложил Долба, – мы скажем ей, что мы по очереди решили сегодня всех обойти... были у вас, а теперь к Дарсье... Ты вот что... ты брось дуться... Мы теперь опять пойдём как ни в чём не бывало в гостиную, и ты иди, а немного погодя мы и поведём линию.

Через полчаса компания, проделав, что задумала, и захватив Карташева, уже шагала к Дарсье. Аглаиду Васильевну уговорили даже отпустить его ночевать к Дарсье, так как все решили там остаться.

– Надо вот что, – говорил Рыльский, отворачиваясь от ветра, – надо, чтоб Дарсье послал за Берендей и Вервицким.

– У! Непременно! Черт побери, устроим ночное бдение! – воскликнул Корнев.

– А может, он спит, подлец? – спросил Долба.

– Кто, Дарсье? Нашел дурака. Он спит только во время чтения.

У Дарсье любили собираться. Он хотя жил за городом, но в его распоряжении был целый дом, прекрасно меблированный. В другом доме, рядом, жила его семья, которая в изобилии снабжала его гостей всякой едой, не исключая и водки. Компания любила пройтись по маленькой, а Берендя постоянно обнаруживал склонность повторить. При появлении водки он оживлялся, желтые глаза его весело лучились, он возбужденно помахивал головой, говорил, острлил и на эти короткие мгновения делался душой компании. Вервицкий не упускал случая упрекнуть друга, предсказывая ему будущность пьяницы, но тот, весело прицеливаясь глазами в него, загадочно говорил, поднося к губам вторую рюмку:

– Дурак ты.

– Ну, уноси, уноси! – командовал Вервицкий, – и веселая, франтоватая прислуга уносила на больших серебряных подносах гранёные графинчики с водкой.

Такие закуски и чай со всевозможными сортами острых сыров и вкусных печений подавались обыкновенно, когда компания, начитавшись, утомлялась и начинала чувствовать какую-то пустоту внутри.

Этот момент всегда ловко угадывал Дарсье.

– А не закусить ли, черт возьми! – вскакивал обыкновенно он первый, выходя сразу из того летаргического состояния, в какое впадал при чтении.

Это воззвание к еде всегда было так весело, такой искрой пробегало по остальным, что чтение бросалось и все спешили только полнее отдаться приятному удовлетворению своего голодного желудка.

Дарсье в описываемый вечер был на половине своих родных, где на импровизированном балу усердно танцевал с своими кузинами.

Компания не любила общества Дарсье. Это все были красивые, затянутые барышни и безукоризненные франты-кавалеры. Их встречала компания на главной улице в часы гулянья в цилиндрах и цветных перчатках и при встрече с ними пренебрежительно фыркала.

Дарсье выскочил к товарищам и радостно, пожимая им руки, говорил:

– Черт, откуда вы? Идем к матери.

Но все наотрез отказались, как он ни уговаривал.

– Если ты занят, мы уйдем? – сказал наконец Корнев.

– Кой черт, занят! Ну, хорошо... подождите... я только пойду... скажу гостям, что... что им сказать? Пстой! Я скажу, что умирает... Корнев, товарищ... приехали за мной.

– Ну, валяй, – махнул рукой Корнев.

Через несколько минут Дарсье вернулся.

– Ну что?

– Плачут.

– Послушан, надо за Берендей и Вервицким послать.

– Непременно.

– Эй, ты, француз, – крикнул ему вдогонку Рыльский, – ты не забудь, что мы того... голодные.

Через час на столе стояла обычная закуска и выпивка, и холодные еще с мороза Вервицкий и Берендя уже закусывали.

Долба, расставив ноги, энергично жевал кусок сочного балыка и говорил вперемежку с едой:

– Господа... Давайте на праздниках свой журнал затеем?

Это была неожиданная, но эффектная мысль. Долба пригнулся к новому куску балыка. Корнев торопливо проглотил кусок и усиленно принялся за свои ногти. Рыльский молча внимательно ел. Задумался и Карташев, больше о том, что вот-де какая простая мысль, а ни разу не пришла ему в голову. Он точно искал глазами, не найдется ли и на его долю что-нибудь, и простое, и новенькое, и эффектное.

Берендя был весь поглощен заботой выпить третью рюмку и к предложению Долбы отнесся как-то равнодушно.

Вервицкий отозвался первый.

– Что ж, – одобрил он, – это хорошо.

– Рылю, – сказал Корнев, – с такой рожей говорит, точно у него миллион доводов сейчас посыплется. Ну, почему хорошо?

Все рассмеялись.

Но у Вервицкого было больше оснований сочувствовать, чем можно было предполагать. К общему удивлению, оказалось, что он давно уже пописывает. Для начала Вервицкий даже предложил свой рассказ под заглавием «Дворник».

– Ти-ти-ти, писатель...

Берендя в исключительные минуты лишился дара слова.

– Ти-ти-ти... – передразнил его Вервицкий. – Терпеть не могу... чего тут удивляться? Что ты дурак, так, думаешь, и все дураки?

– Вот так штука! – продолжал Берендя, незаметно протягивая руку за третьей рюмкой, – кто бы мог думать?

– Вот, ей-богу, дурак, – волновался Вервицкий.

– Смотри, смотри, – показал Долба на Берендю.

Но Берендя уж быстрым движением успел опрокинуть в рот рюмку.

– Ах ты, подлец!

И, в то время как Вервицкий тузил Берендю, Берендя, весело пригнувшись, выбирал на столе, чем бы заесть.

– Так ты писатель? – продолжал он и опять потянулся к графину.

– Убирай водку! – решительно скомандовал Вервицкий. – Горькая пьяница, пропойца! Дрянь, тряпка!

– Господа, давайте его качать! – предложил вдруг Берендя и залился подмивающим смехом.

– Да ну вас к черту, – запротестовал Долба, – давайте как следует обсуждать дело.

Мысль о журнале была одобрена. Не откладывая в долгий ящик, тут же был избран редактором Долба. Во-первых, потому, что ему первому пришла эта мысль; во-вторых, и главным образом потому, что на нем мирились все. Если бы, например, выбрать Корнева – Карташеву будет обидно. Выбрать Карташева было тоже неудобно. Карташев по-прежнему нет-нет и выпалит что-нибудь такое, что совсем не согласовалось с общим тоном; так, он стоял за независимость убеждений, и эта независимость в конце концов сводилась, по мнению партии Корнева, к тому, чтобы иметь право поменьше читать и побольше рубить сплеча, побольше говорить того, что только взбрет в голову. Рыльский не годился в редакторы опять по другим причинам.

Он имел одну слабость, которую не разделял даже Корнев: был слишком поляк. Это вызывало постоянные столкновения с Семеновым, Вервицким и даже с Карташевым.

Был выяснен и материальный вопрос. Необходимые средства получались равномерным распределением расходов между участниками. Главный расход заключался в бумаге и переписке статей. Ввиду ограниченности средств решено было издавать журнал в двух экземплярах, из которых один переходил бы из рук в руки по мере прочтения, причем право держать у себя журнал ограничивалось сутками. Были намечены и отделы: беллетристический, политико-экономический, исторический, научный, критика и фельетон с картинками из общественной жизни.

Вервицкий взял на себя поставку беллетристических произведений, Долба взялся за фельетон, по историческому отделу вызвались двое: Рыльский и Берендя. Рыльский взял тему: социальные причины, вызвавшие отпадение Малороссии от Польши. Берендя остановился сперва на теме из русской истории: доказать исторически, что русская раса идет общечеловеческим путем в деле прогресса. Статья имела целью нанести окончательный и решительный удар славянофилам вообще и учителю истории, Леониду Николаевичу Шатрову, – в частности.

На праздниках несколько раз собирались по поводу журнала. Генеральное совещание было назначено у Долбы.

Карташев по дороге зашел за Корневым, и если бы не Корнев, то он так бы и остался там.

– Послушайте, Карташев, – выскочила на крыльцо сестра Корнева, – приходите после Долбы к нам чай пить.

Карташев покраснел от счастья до корней волос и голосом, ясно говорившим, что разве смерть помешает прийти, ответил:

– Приду.

– Пораньше.

– Как только кончится. Кончится скоро... уходите, а то простудитесь.

И, заглянув еще раз в глубь смотревших на него издали глазок, он скрепя сердце пошел чинно рядом с Корневым.

Долбу приятели застали сидящим за своим столом и погруженным в какие-то глубокомысленные соображения. Он рассеянно пожал им руки, толкнул небрежно лежавшую перед ним рукопись Вервицкого и проговорил озабоченно:

– Черт его знает... Для первого номера и такую неудачную штуку...

– Плохо? – спросил Корнев.

– Почему дворник, – размышлял Долба, – а не точильщик или водовоз...

Он пожал плечами.

– Фартук разве... Ничего типичного; ни быта, ни идеи... так, какие-то детские картинки... Ну вот...

Долба взял рукопись и прочел наудачу:

– «Семен любил после обеда со своим другом посидеть на завалинке, где-нибудь на улице, так, чтоб был виден заход солнца. Если при этом друзья бывали выпивши, а это случалось нередко, они тихо мурлыкали себе под нос какую-нибудь однообразную песнь и меланхолично провожали глазами опускавшееся на покой солнце...» И дальше описание заходящего солнца... третья по счету.

– Да, не завлекательно, – сказал раздумчиво Корнев.

– И вдобавок неграмотно, как только может быть...

Долба засмеялся своим мелким смехом.

– Покажи.

Корнев взял рукопись и стал просматривать ее.

– Неважное блюдо, – сказал он, возвращая назад рукопись.

Долба взял опять рукопись, уставился в нее, пожал плечами и проговорил:

– Ну, черт с ним!

Он схватил карандаш и написал под заглавием «Патологический очерк».

– Валяй. По крайней мере, редакцию ни к чему не обязывает.

– Собственно, почему же патологический?

– Да потому, что поручиться за то, что не может быть такой Семен дворником, особенно когда все мы его знаем и видим каждый раз, когда приходим к автору, – Долба фыркнул, – нельзя, а с другой стороны, и не тип это... Очевидно, патологический очерк!

– Да, конечно, – согласился Корнев.

– По крайней мере, рамка литературная.

Долба отложил рукопись Вервицкого в сторону и, придвинув слегка исписанный листок, скромно проговорил, всматриваясь в глаза Корневу и Карташеву:

– Я свой фельетон начал уже...

– А... начал... интересно послушать.

– Очень интересно, – насторожился Карташев.

– Да неважно... так, черновик.

– Ну, да уж там видно будет. Читай.

Долба смущенно рассмеялся, растрепал свои волосы, мгновение помолчал и начал:

– Фельетон... Картинки общественной жизни... «Все идет по-старому от начала времени по предопределенному пути...»

– Ты что ж, не признаешь, что путь этот изменялся и способен и впредь изменяться?

– Да, пожалуй, это не совсем удачный оборот... Да это, впрочем, для начала... надо ж с чего-нибудь... Как-то это начало все равно, что вот в купанье: разделся... попробуешь лезть в воду... одной ногой, другой... так, этак... все неловко – пока, наконец, соберешься с силами: бултых сразу...

– Конечно...

– Ну-с... «Все так же мчится на своем рысаке счастливый собственник и меньше всего думает о том, что есть миллионы людей, которые позавидовали бы не то что его жизни – жизни кучера его, жизни рысака, а даже жизни его экипажа, который приедет, и его поставят в крытый сарай, а миллионы и такого сарая не имеют. Что ж? Экипаж может испортиться, а непромокаемый плащ – человеческая кожа – не боится, как известно, ни дождя, ни ветра».

Долба оторвался и, рассмеявшись, уставился в слушателей.

– Ничего... – сказал Корнев.

Карташев был занят вопросом: мог ли бы он так написать? И, подавленный мастерством пера Долбы, он похвалил:

– Очень, очень хорошо.

– Разве? – спросил Долба и весело рассмеялся.

– Ну, валяй, валяй... Любит, чтоб хвалили... – заметил недовольно Корнев.

– Ну вот... Ну ладно...

– «А между тем вторая тысяча лет истекает с того великого момента, когда на земле раздались вечные слова братства, равенства и свободы...»

Корнев усиленно загрыз ногти и перебил автора:

– Здесь, некоторым образом, игра ума...

– Ну, так ведь я уж, конечно, так, чтоб посильнее...

Дверь отворилась, и вошли Вервицкий и Берендя.

Долба положил свою рукопись и, здороваясь с пришедшими, заявил Вервицкому:

– Твоя завтра в набор... смотри.

Вервицкий посмотрел, увидел надпись, внимательно прочел и повторил с некоторым вопросом в голосе:

– Патологический?

– Значит, если буквально, – пояснил Долба, – болезненный.

– Чем же болезненный? – немного огорчился Вервицкий.

Все рассмеялись.

Берендя принялся объяснять ему.

Но Вервицкому не понравилось его объяснение, и он нетерпеливо перебил его:

– Ти-ти-ти... терпеть не могу, когда ты лезешь не в свое дело, берешься за то, чего сам не понимаешь.

– Но... позволь, почему я не понимаю?

– Да, не понимаешь – и конец. Объясни, – обратился он к Корневу.

Корнев объяснил, стараясь облечь все в такую форму, чтоб не задеть самолюбия Вервицкого.

Вервицкий стоял, засунув руки в карманы, расставил ноги и слушал, смотря внимательно в пол.

В передаче Корнева ничего обидного для его авторского самолюбия не оказалось, и он проговорил удовлетворенно:

– Теперь понимаю... А то ти-ти-ти, ти-ти-ти, и ни черта.

– Я... я... тебе то же самое говорил, с тою разницею, что не принял твоего самолюбия, что ли...

– Ерунда... – перебил его Вервицкий, – опять ерунда...

– Да... да... какая же ерунда?

И Берендя нежно приложил пальцы к своей груди.

– А вот такая, – ответил упрямо Вервицкий.

– Ты... ты... сердисься, Гораций, значит, ты не прав, – сказал Берендя.

Вервицкий передразнил его и заключил:

– Выдернет ни к селу ни к городу и рад.

Затем, не устаивая больше вниманием своего друга, он обратился к Долбе:

– Ты что ж, уже читал мое сочинение?

– Прочел.

– Ну что, как?

Несмотря на грубоватую решительность, в голосе Вервицкого слышались тайная тревога и страх.

– Да ведь что ж? Небольшая вещица... Да ничего.

– Я ведь ее так, между прочим, и написал, – объяснил Вервицкий. – Ну ничего, так ничего: и то добре и то в шмак... Э, и ты написал. Ну, покажи, покажи...

В это время пришли Семенов и Рыльский.

Вервицкий, схватив рукопись Долбы, уселся к окну и принялся читать ее с таким решительным и вдумчивым видом, с каким только когда-либо автор читал новую вещь своего собрата.

Началось обсуждение тем.

– Ты на чем же остановился? – обратился Долба к Карташеву, когда до него дошла очередь.

– Я, собственно, еще ни на чем не остановился.

– Что-нибудь историческое? – посмотрел Долба на Корнева.

– Отчего, собственно, историческое? – насторожился Карташев.

– Ну, что хочешь...

– Научное разве что-нибудь, – нерешительно произнес Карташев.

– Что ж из научного? – спросил Корнев. – Я думаю, этот отдел нам не по плечу... Какую научную статью мы можем написать?

- Отчего ж? – сказал Долба. – Популяризацию, например, Фохта, Молешота, Бюхнера.
- Их в русском переводе нет: по Писареву разве.
- Ну, это уж будет популяризация популяризации, – ответил огорченно Карташев.
- Я беру на себя, – заявил Корнев, – отдел критики... собственно, конечно, не критики, а сжатое изложение и некоторые соображения по части текущей литературы.
- Ну, что ж, отлично... Это красивый отдел, и у тебя выйдет. Ну, останавливайся и ты на чем-нибудь...
- Нет, я ничего не буду писать, – сказал Карташев, отчего-то вдруг обидевшись.
- Да ты чего? Ну, пиши научное...
- Нет, да я... нет.
- Послушай: да ты, может быть, критический отдел хотел... так бери, пожалуйста.
- Нет, нет...
- Да пиши... Ведь в критическом отделе могут и двое работать. Собственно даже, я думаю, для большего интереса можно и полемику устроить: один написал, а кто-нибудь, может быть, возражать станет.
- Это хорошо, – повеселел Карташев. – Ну, так вот, ты и пиши, а я тебе возражать в следующем номере буду...
- Да, может, и не придется?
- Наверно, придется.
- Все рассмеялись.
- А теперь я вот что возьму, – продолжал Карташев. – Я напишу о вреде классического образования.
- С какой стороны?
- Со всех... Во-первых, теоретически докажу.
- То-то теоретически, – вставил Рыльский, – а то практически...
- Все рассмеялись.
- Ты напиши, – дал совет Корнев, – что практически неудобно классическое образование в том отношении, что есть иногда опасность умереть от смеха. И знаешь: маленькую иллюстрацию к этому... Картинки...
- Карташеву было обидно, что его тему вышучивают.
- Шутить так шутить, а серьезно говорить – так и давайте. Одно дело – наш Дмитрий Петрович... ничего общего здесь нет с общей постановкой классического образования.
- Да нет... тема благодарная, – согласился Корнев.
- Но как он ни старался проговорить это серьезно, в голосе его чувствовалась подозрительная нотка, и Рыльский подхватил ее:
- И я тебе советую, когда уж все там изложишь, что хочешь, – привести, как последний аргумент, такой: из всех времен только у самих классиков не было классиков, а между тем они-то и являются идеалом.
- Сиречь, – перебил Долба, – надо, двигаясь вперед, стать передом не к заду...
- Я ничего не буду писать, – обиделся окончательно Карташев.
- Бросили шутки, и все начали урезонивать его.
- Да ничего не хочу, – упрямо твердил он. – Не буду. Вышутили, вышутили, и пиши. Не буду.
- Послушай, ну, что ты в самом деле... Ну что ж, нельзя, значит, пошутить? Далай-лама ты, что ли?
- Не далай-лай...
- Карташев как ни был обижен, но не мог не рассмеяться тому, что не мог выговорить: далай-лама.

– Рыло ты, – сказал Корнев, добродушно путая густые волосы Карташева, который после своего невольного смеха сидел с глупой физиономией, напрасно стараясь придать ей обиженный вид.

– Ну, кто серьезно вышучивал? Глупо же... Прекрасная тема, вполне современная, назревшая.

– Может ведь так, братец мой, выйти, – заметил серьезно Семенов, – так напишешь, что и классическое-то образование все к черту отменяют.

Как не удерживалась компания от смеха, чтоб еще больше не огорчить Карташева, но сил не хватило, и все опять расхохотались.

– Дурачье, – проговорил, фыркая, Карташев.

– Ну, послушай... – сказал Рыльский. – Брось к черту, да и бери, что ли... Мне пора... Я должен идти сегодня с родными.

Карташев вспомнил про свое обещание сестре Корнева, ее приглашение и, окончательно развеселившись, согласился:

– Ну, хорошо, черт с вами.

– А Дарсье так и не приехал.

– Врешь, приехал, – ответил вошедший Дарсье, по обыкновению одетый с иголки.

– Ну, а ты что берешь?

– Ему отдел мод завести, – предложил Рыльский.

И, пока все смеялись, Дарсье добродушно повторял:

– Свины... Право, свины...

– Нет, в самом деле, ты что берешь?

– В сущности, я ведь совсем не владею пером.

– Не будь скромн, – вставил Рыльский, – ни пером, ни языком.

Дарсье сконфуженно провел рукой по своему лицу:

– Не злоупотребляю, может быть.

– О-го! – ответил Рыльский и запустил руку в кудрявую шевелюру Дарсье.

– Ну, уж это пожалуйста, – Дарсье отшатнулся, – языком мели, что хочешь, а рукам воли не давай. Знаешь пословицу: *jeu des mains, jeu des vilains*<sup>3</sup>.

– По-русски это выходит, – перевел Долба, смеясь своим смехом, – у всякого человека свой гонор есть.

Однажды Карташев, взволнованный, пришел из класса домой, наскоро пообедал и заперся в кабинете.

Лежа на диване, он держал только что вышедший гимназический журнал и читал с наслаждением свою статью, переписанную четким, крупным почерком. Карташеву казалось, что это не он писал: так плавно и гладко читалось теперь написанное.

Он прочел залпом. Ему не захотелось больше ничьих статей читать, и с журналом в руках, торжествующий и смущенный, он пришел в столовую, где сидела Аглаида Васильевна с детьми: Зина пытливо вскинула глаза на брата, остановилась на мгновение на его тетради и проговорила тем разочарованным голосом, когда вперед уже знаешь, в чем дело:

– А-а, журнал...

– Покажи, – протянула руку Аглаида Васильевна.

Карташев дал ей журнал и с довольной гримасой небрежно сел на стул у стола.

Аглаида Васильевна перелистывала довольно толстую тетрадь и, остановившись на статье сына, начала ее читать.

– Мама, читай громко, – потребовала Зина.

---

<sup>3</sup> Руки распускают только мужланы (*фр.*).

Карташев напряженно следил за ней глазами все время, пока она читала. Иногда она улыбалась, и тогда он вскакивал и смотрел в журнал: чему именно улыбается мать.

Когда она кончила, он впился в нее глазами. Мать некоторое время молчала и наконец сказала с усмешкой:

– Глупенький ты.

Карташев не ожидал такого отношения. Он покраснел и смутился. Он спросил, стараясь быть равнодушным:

– Тебе не нравится?

Мать недоумевающе пожала плечами:

– Не-ет... ничего...

Какая-то непривычная сухость тона еще тяжелее задела Карташева.

Мать начала читать следующую статью Корнева: «Нечто о художественном».

– У него очень логически развивается мысль, – заметила она мимоходом и опять сосредоточенно погрузилась в чтение.

Кончив, она вскользь окинула взглядом сына и, задумавшись, смотрела в окно. Карташеву казалось, что она думала в это время о том, что Корнев написал прекрасную статью, а он, ее сын, написал бездарную, плохую, и ей стыдно теперь за него. Сердце Карташева тоскливо сжалось. Он сидел смущенный, растерянный и весь был охвачен мыслью, как бы хоть не заметили и не угадали его душевного состояния. Никто ничего не заметил: мать встала и вышла из комнаты. Зина, тоже вдруг потеряв интерес к его журналу, продолжала заниматься. Карташев посидел еще и, незаметно захватив журнал, ушел с ним к себе.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.